

ИВ. ШМЕЛЕВЪ

НЕУПИВАЕМАЯ

ЧАША

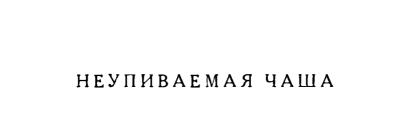
И ДР. РАЗСКАЗЫ



ПРАГА

1924

Н вдательство
"ПААМЯ"
подь общимъ
руководствомъ
и рофессора
Е. А. Анцкаго



Дачники съ «Ляпуновки» и окрестностей любять водить гостей «на самую Ляпуновку». Барышни говорять восторженно:

— Удивительно романтическое мъсто, все въ прошломъ! И есть удивительная красавица... одна

изъ Ляпуновыхъ. Цълыя легенды ходять. Правда: въ «Ляпуновкъ» все въ прошломъ. Гости стоять въ грустномъ очарованіи на сыроватыхъ берегахъ огромнаго полноводнаго пруда, отражающаго зеркально-каменную плотину, стольтнія липы и тишину; слушають кукушку въ глубинъ парка; вглядываются въ зеленые камни пристаньки, съ затонувшей лодкой, наполненной головастиками, и стараются представить себъ, какъ здъсь было. Хорошо бы пробраться на островокъ, гдъ теперь все въ мали-нъ, а весной поють соловьи въ черемуховой чащъ; но мостки на островокъ рухнули на середкъ, и прогнили подъ берестой березовыя перильца. Кто-ни-будь запоеть срывающимся теноркомъ: — «Невольно къ этимъ грустнымъ берега-амъ»... — и его непремънно перебыють:

— Идемте, господа, чай пить!

Пьють чай на скотномъ дворъ, въ крапивъ и лопухахъ, на выкошенномъ мъстечкъ. Полное запустъніе, — каменные сараи безъ крышъ, въ проломы смотрится бузина.

— Одинъ быкъ остался!

Смотрять — смъются: на одинокомъ столбу вороть еще торчить побитая бычья голова. Во фли-

гелькъ, въ два окошечка, живеть сторожъ. Онъ приносить осколокъ прежняго — помятый зеленый самоваръ-вазу и говорить непременное: «сливковъ нету, хоть и скотный дворъ». На него смъются: всегда распояской, недоумънный, словно что потерялъ. И жалованья ему пять мъсяцевъ не платять.
— А господа все судятся?! — подмигивая,

удивляется бывалый дачникъ.

— Двадцать два года все судъ идеть. Который баринъ на полькъ женился... а туть еще вступились... а Катерина Митревна... — наплевать мнъ, говорить. А безь ее нельзя.

И опять всъ смъются, и сараи — каменнымъ

пустымъ брюхомъ.

Идуть осматривать домъ. Онъ глядить въ паркъ, въ широкую аллею, съ черной Флорой на пустой клумбъ. Онъ невысокій, длинный, подковой, съ плоскими колонками и огромными окнами по фасаду, — напоминаетъ оранжерею. Кто говоритъ — ампиръ, кто — барокко. Спрашиваютъ сторожа:

— А можеть и рококо? — А миъ что... Можеть, и она.

Входять со смѣхомъ, идуть амфиладой: банкетныя, боскетныя, залы, гостиныя, — въ зеленоватомъ полусвътъ отъ парка. Смотритъ нъмо корельская береза, красное дерево; горки, угольные диваны-исполины, гнутыя ножки, пузатые комоды, туски вощая бронза, въ пыли уснувшія зеркала, усталыя отъ в'вковыхъ отраженій. Молодежь выписываеть по пыли пальцами: Анюта, Костя... Оглядывають портреты: тупеи, тугіе воротники, глаза навыкать, насандаленные носы, парики, — скука. — Вотъ, красавица!

Изъ-за этого портрета и смотрять домъ.

— Глаза какіе!

Портреть въ овальной золоченой рамъ. Очень молодая женщина, въ черномъ глухомъ платъъ, съ чудесными волосами красноватаго каштана. На тонкомъ блъдномъ лицъ большіе голубые глаза въ радостномъ блескъ: весеннее переливается въ нихъ, какъ новое послъ грозы небо. — тихій восторгъ просыпающейся женщины. И порывъ, и наивно-дътское, чего не назовешь словомъ.

— Радостная королева-дѣвочка! — скажеть ктонибудь, повторяя слово заѣзжаго поэта.

Стоять подолгу, и, наконець, всё соглашаются, что и въ удлиненныхъ глазахъ, и въ уголкахъ наивно полуоткрытыхъ губъ — горечь и затаившееся страданіе.

— Вторая неразгаданная Монпа Лиза! — ктонибудь скажеть непремънно.

Мужчины — въ мимолетной грусти несбывшагося счастья; женщины затихають: многимъ ихъ жизнь на минуту представляется съренькой.

— Секреть! — спъшить предупредить сторожъ, почесывая **кул**акомъ спину. — На всякаго глядить сразу!

Всв смъются, и очарование пропало. Секретъ всв

знають и мъняють мъста. Да, глядить.

— И другой секреть... про анниратора! Прописано на ней тамъ...

Сторожъ шлепаетъ голой грязной ногой на табуретку, снимаетъ портретъ съ костыля, держитъ, будто хочетъ благословить, и барабанитъ пальцами: читайте! И всв начинаютъ вполголоса вычитывать на картонной наклейкъ написанное красиво вязью, съ красной начальной буквой:

... Анастасія Ляпунова, по роду Вышатова. Родилась 1833 года маія 23. Скончалась 1855 г. марта 10 дня. Выпись изъ родословной меморіи рода Вышатовыхъ, листь 24: «На балу санктъ-петербургскаго дворянства Августъйшій Монархъ изволилъ остановиться противь сей юной дъвицы, исполненной нъжныхъ прелестей. Особливо поразили Его глаза оной, и Онъ соизволиль сказать: Maintenant c'est l'hiver, mais vos yeux, ma petite. réveillent dans mon coeur le printemps! « A на утро прибылъ къ отцу ея, гвардін секундъ-маіору, Павлу Афанасьевичу Вышатову, флигель-адъютанть и привезъ приглашение во дворецъ совокупно съ дочерью Анастасіей. О, сколь сія Монаршан милость горестно поразила главу фамиліи благородной! Онъ же, гвардіи секундъ-маіоръ Вышатовъ, прозръвая грустную отнынъ участь юной дъвицы, единственнаго дитяти своего, и позоръ семейный, чего многіе за позоръ не почитають, явиль дерзостное ослушаніе, въ сихъ судьбахъ благопохвальное, и тоть же чась выбхаль съ дочерью, въ великомъ ото всъхъ секретъ, въ дальнюю свою вотчину Вышата-Темное».

Сторожъ убираетъ портретъ. Всв молчатъ: оборваласъ недосказанная поэма. Мерцающіе, несбыточные глаза смотрять, хотять сказать: да, было... и было многое...

Идуть къ церкви, за паркомъ. Бъгло оглядыва-ють стънную живопись, работу будто-бы кръпостного человъка. Да, недурно, особенно Страшный Судъ: деревенскія лица, чуть ли не въ зипунахъ.
— Господа, въ склепъ опять *она!* Въ 905-мъ

парни разбили надгробія и выкинули кости. Входять въ сыроватый сумракъ, въ радугъ отъ

цвытных стеколь. Осматривають подправленныя

надгробія, помятыя плиты. Одно надгробіе упълъло, съ връзаннымъ въ мраморъ медальономъ: ея портреть, уменьшенное повтореніе. Тъ же, радостно плешушіе глаза.

— Парни наши побили гроба.. — равнодушно говорить сторожъ. — До «жеребца» добирались. А старики такъ прозвали. А эту не дозволили безпоко-ить. Святой жизни, будто, была. Старики сказывали. Больше онъ ничего не знаетъ.

Смотрять бархатную черноту склепа — роспись, Ангела Смерти, съ черными крыльями и каменнымъ ликомъ, перегнувшагося по своду, склонившагося къ ея надгробію, и бълыя лиліи, слабо проступающія у стынь: какь живыя.

Осмотръно все, можно домой. Не показываеть сторожъ могилы у съверной стороны церкви. Въ сочной травъ лежить обросшій бархатной илъсенью валунъ-камень, на которомъ едва разберешь высъченные зна-ки. Здъсь лежить прахъ бывшаго кръпостного чело-въка Ильи Шаронова. Имя его чуть проступаеть въ уголку портрета. А можеть быть и не знаеть сторожъ: мало кто знаеть о немъ въ округъ.

Церковь въ «Ляпуновкъ» во имя Ильи Проро-ка, тянуть къ ней три деревни, а на Престолъ быва-ють и изъ Вышата-Темнаго, верстъ пятнадцать. То-гда приходить и столътній дьячокъ Каплюга, прожи-вающій въ Высоко-Владычнемъ женскомъ монасты-ръ, въ Настасьинской богадъльнъ. Старъй его нътъ верстъ на сто; мужики зовуть его Мусаиломъ и какъ поъдуть на Илью Пророка — везуть на сънъ. Отъ него и знають про старину. А онъ многое помнитъ: какъ перекладывали Илью-Пророка и какъ вънчали Анастасів Павловну съ гвардіи поручикомъ Сергіемъ Дмитріевичемъ Ляпуновымъ: такіе-то огни на прудахъ запускали! Хорошо помнилъ дьячокъ Каплюга и какъ расписывалъ церковь живописный мастеръ, дворовый кръпостной человъкъ Илюшка.

— Обучался въ чужихъ краяхъ...я его и гра-

мотъ училъ.

Знаетъ Каплюга и про «жеребца», родителя Сергія Дмитріевича, и какъ жилъ на скотномъ во флигелечкъ живописный мастеръ, и какъ померъ. И про блаженной памяти Апастасію Павловну, и называетъ ее — святая. И про Вышата-Темное, откуда она

— А Егорій-то на стѣнѣ... ого! И «Змѣя» того... прости Господи... самъ видалъ. Только тогда объ

этихъ дълахъ не говорили.

Лежить за рѣкой Нырлей, о-бокъ съ Вашата-Темнымъ, Высоко-Владычній монастырь, бѣлый, при-земистый, — давняя обитель, стѣнами и крестомъ ограждавшая край отъ злыхъ кочевниковъ: теперь это женская обитель. На южной сторонъ собора свътлый рыцарь, съ глазами-звъздами, на бъломъ конъ, поражаеть копьемъ Змъя въ черной бронъ, съ головой какъ у человъка, — только язычище, зубы и пасть звъриные. Говорять въ народъ, что голова того Змъя — «жеребцова».

Много разсказовъ ходить про «Ляпуновку». А вполнъ достовърно только одно, что разсказываеть Каплюга. Самъ читалъ, что записано было самимъ Ильею Шароновымъ тонкимъ красивымъ почеркомъ въ «итальянскую тетрадь бумаги». Тетрадь эту передаль дьячку самь Илья наканунь смерти.

— Такъ и сказалъ: «Анисьичъ... меня ты грамоть обучаль... воть тебь моя грамота»...

Хранилъ дьячокъ ту тетрадь, а какъ стали переносить «Неупиваемую Чашу» изъ трапезной палаты въ соборъ, смутился духомъ и передалъ записанное матушкъ настоятельницъ втаинъ. Говорилъ Каплюга, будто и досель сохраняется та теградь въ жельзномъ сундукь, за печатями, — въ покояхъ у настоятельницы. И архіерей знаеть это и повел'влъ:

— Храните для назиданія будущему, не огла-шайте въ настоящемъ, да не соблазпятся. Тысячи путей Господней благодати, а народъ жаждаеть ра-

дости . . .

Умный, ученый былъ архіерей тотъ и хорошо зналь тоску человъческаго сердца.
Вотъ что разсказывають читавшіе.

Былъ Илья единственный сынъ кръпостного двороваго человъка, маляра-Терёшки, искуснаго въ дълъ, и тягловой Луши Тихой. Матери онъ не зналъ: померла она до году его жизни. Приняла его на уходъ тетка, убогая скотница Агафья Косая, и жилъ онъ на скотномъ дворъ, съ телятами, безъ всякаго досмотра, — у Божья Глаза. Топтали его свиньи и лягали телята; быкъ разъ поддълъ подъ рубаху рогомъ и метнулъ въ крапиву, но Божій Глазъ сохранялъ, и въ дътскихъ годахъ Илья сталъ помогать отцу: растиралъ краски и даже наводилъ свиль оръшную по фанерамъ. Но былъ онъ мальчикъ красивый и румяный, какъ наливное яблочко, а нъжностью лица и глазами схожъ былъ съ дъвочкой, и за эту приглядность взяль его старый баринь въ покои подавать и запалять трубки. И воть однажды, когда второпяхъ разбиль Илья о ножку стола любимую баринову трубку съ изображеніемъ голой женщины, которой въ бедра самъ баринъ наминалъ табакъ съ крехотомъ, приказаль тирань дать ему соленаго кнута на конюшнъ. Сказал:

— Узнаешь, песій щеняка, чъмъ трубка пахнеть.

Тогда отъ стыда и страха убъжалъ Илья къ теткъ на скотный и, втайнъ отъ нея, хоронился въ хлъву, за соломой, выхлебывая свиное пойло. Но не избъжалъ наказанія и опять быль приставленъ къ трубкамъ.

Звали люди барина «жеребцомъ». Былъ онъ высокъ, тученъ и похотливъ; всъ пригожія дъвки перебывали у него въ опочивальной. Быль онъ съ роду такой; а какъ повыдалъ дочерей замужъ, а сына прогналь на службу, сталь, какь султань турецкій: полонъ домъ былъ у него дъвокъ. Даже и совсъмъ не-доростки были. Помнилъ Илья, какъ кинулся на барина съ сапожнымъ ножомъ столяръ Игнашка, да промахнулся, и быль увезень въ острогъ. Но сталь баринь хиръть и терять силы. Тогда водили къ нему особо приготовленныхъ дъвокъ: парили ихъ въ жаркой банъ и съкли яровой соломой, оттого приходили онъ въ ярое возбуждение и возвращали тирану силы. Тяжело и стыдно было Ильъ смотръть на такія

дъла, но по своей обязанности состоялъ онъ при баринъ неотлучно. Даже требовалъ отъ него баринъ ходить нагимъ и смотръть весело. А онъ закрывалъ отъ стыда глаза. Тогда приказывалъ ему баринъ-тиранъ дълать разныя непотребства, а самъ сидълъ на креслъ, сучилъ ногами и курилъ трубку. Было тогда Ильъ двънадцать лътъ.

Какъ-то лътомъ поъхалъ баринъ глядъть мельницу на Проточкъ, — прорвало ее паводкомъ. Ръдко выбирался онъ изъ дому, а Илья все надумываль, какъ бы сходить въ монастырь, помолиться, — ждаль случая. И воть, не сказавъ ни отцу, ни ключницъ — старухъ Фефелихъ, въ стыдъ и скорби, побъжалъ на Вышата-Темное, въ Высоко-Владычній монастырь: слыхалъ часто и отъ дворовыхъ и отъ прохожихъ людей, что получають тамъ утъшеніе.

Послъ объдни онъ остался въ храмъ одинъ и сталъ молиться украшенной лентами золотой иконъ. Какой — не зналъ. И вотъ, подошла къ нему ста-

рушка-монахиня и спросила съ лаской:

— Какое у тебя горе, мальчикъ?

Илья заплакаль и сказаль про свое горе. Тогда взяла его монахиня за руку и вельла молиться такъ: «Защити-оборони, Пречистая!» И сама стала молиться рядомъ.

— А теперь ступай съ Богомъ. Скушай просвир-

ку, и укръпишься.

Дала изъ мъшочка просвирку, перекрестила и вывела изъ храма. И легко стало у Ильи на сердцъ.

Всю дорогу — пятнадцать версть — сосновымъ боромъ весело прошель онъ, собирая чернику, и пъль пъсни; и кто-то шель съ нимъ кустами и тоже пълъ. Должно быть, это быль отзвукъ. И вовсе не думалось ему, что воротился съ мельницы баринъ и хлопаетъ въ ладони — кличетъ. Только подходитъ къ лавамъ на Проточкъ, — выскочила изъ кустовъ Любка Кривая, которой проткнулъ баринъ глазъ, вышпынивая изъ-подъ лъстницы, куда она отъ него забилась, обхватила Илью за шею и затрепала:

— Илюшечка миленькій, красавчикъ! Утопъ нашъ Жеребецъ проклятущій на мельниць, не по своей волъ! Туточки верховой погналь на деревню,

кричалъ...

Завертъла его, какъ бъщеная, зацъловала. Возрадовался Илья въ сердцъ своемъ и не сказалъ никому про свою молитву.

Положилъ Господь на въсы Правды Своей слезы

рабовъ и покаралъ тирана напрасной смертью. Всю жизнь снился Ильъ старый баринъ: мурластый, лысый, съ закатившимися подъ лобъ глазами, въ заплеванномъ халатъ, съ волосатой грудью, какъ у медвъдя, и ногами въ шерсти. И всю свою недолгую жизнь говорилъ Илья въ тягостную минуту старухину молитву.

H

Сталъ на власть молодой баринъ, гвардіи поручикъ Сергій Дмитріевичъ. Прівхалъ изъ Питера при старомъ баринъ бывалъ ръдко — и завелъ псовую охоту на удивленье всъмъ. Стало при немъ много веселъй. Старый медвъдемъ жилъ, не водился съ сосъдями; а молодой погналъ пиры за пирами. Завель пъсельниковъ и трубачей, поставилъ на островкъ «павильонъ любви» и перекинулъ мостки. Стали плавать на прудахъ лебеди.

Опять отошель Илья къ отцову дълу: расписывалъ на бесъдкахъ букеты и голячковъ со стрълками

— амуровъ. Не хуже отца работалъ.

Добрый быль молодой баринь, не любиль свчь; а сказалъ:

— Надо васъ, дураковъ, грамотъ всъхъ учить:

ученье — свъть!

Призвалъ молодого дьячка Каплюгу съ погоста да заштатнаго дьякона, пьяницу Безносаго — провалился у него носъ — и приказалъ гнатъ науку на всвхъ дворовыхъ — стариковъ и ребятъ. Выръзалъ

себъ Безносый долгую оръшину и доставаль до лысины самаго задняго старика, у котораго и зубовь уже не было. Плакали въ голосъ старики, молили барина ихъ похерить. А Безносый доставалъ оръшиной и гнусилъ:

— Не завиствуй господской долъ! Господская

наука всёмъ мукамъ мука!

Кончилось обученье: нашли Безносаго подъ мостками въ Проточкъ, у полыньи: разбился во хмелю будто.

Выучился Илья у Каплюги бойко читать Псалтырь и по гражданской печати; и писать и считать выучился отмънно. Пришель баринь прослушать обученье и подариль Ильъ за старанье холста на рубаху, новую шапку къ зимъ и гривну мъди на подмонастырскую ярмарку, что бываетъ на Рождество Богородицы.

Памятна была Ильъ та первая гривна мъди.

Пригоршню сладкихъ жемковъ, корецъ имбирныхъ пряниковъ и полную шапку синей и желтой ръны накупилъ онъ на ярмаркъ; три раза проползалъ подъ икону за крестнымъ ходомъ и щей монастырскихъ съ сомовиной наълся досыта. Слушалъ слъпцовъ, наглядълся на медвъдя съ кольцомъ въ ноздръ. Помнилъ до самой смерти тотъ ясный, съ морозцемъ, день, засыпанныя кистями рябины у монастырскихъ воротъ и пушистыя георгины на образахъ. А когда возвращался съ народомъ черезъ сосновый боръ, — вольно отзывался боръ на разгульные голоса парней и дъвокъ. Пъли они гулевую пъсню, перекликались. Запретная была эта пъсня, шумная: только въ лъсу и пъли.

Пъли-спрашивали — перекликались:

С'отчево выогой-метелюшкой мететь? С'отчево не всъ дорожки укрыёть? Одну-ю и вюжина не береть! А какую выожина не береть? Всю каменьемъ умощеную, Все кореньемъ да съ хвощиною! А какую метелюга не мететь? Ой, скажи-ка, укажи, лъсъ-боръ! Самаю ту, что на барскай дворь!

Радовался Илья, выносиль подголоскомъ, набиралъ воздуху, — ударять сейчась всё дружно. Такъ и заходить боръ:

> Чтобъ ей не было ни хожева, Ой, ни хожева, ни Важева! Ай, выога-метелюга, заметай! Ай, дъвки, русы косы расплетай!

Минуло въ ту осень Ильъ шестнадцать лъть.

III

Прошло половодье, стала весна, — и въ монастырь начали подновлять соборь. Прівхала къ барину съ поклонами обительская мать-казначея, — Вздила по округь, — не отпустить-ли для малярной работы чистой умълаго мастера, Шаронова Терёшу? Охотно отпустиль баринъ: святое дъло.

Лежало сердце Ильи къ монастырской жизни: тишина манила. Хорошъ былъ и колокольный наборъ и вызвонъ: прівзжаль обучать звонамь знаменитый позаводскій звонарь Иванъ Куня и обучиль хорошо слъпую сестру Кикилію. Умъла она выблаговъстить на подзвонъ — «Свъте Тихій».

Ужъ собираться было отцу уходить въ монастырь на работу, и баринъ сталъ собираться въ от-**Вздъ**, въ степное имѣніе, до осенней охоты. Тогда нашла на Илью смелость. Приметиль онъ — пошелъ баринъ утречкомъ на пруды кормить лебедей, понесла за нимъ любимая дъвка, Сонька Лупоглазая, пшенную кашу въ шайкъ. Подобрался Илья кустами, сталъ выжидать тихой минутки.

Веселый стояль баринь на бережку, у каменнаго причала, гдъ ръзныя, Ильей покрашенныя лодки для гудянья, швыряль пшенную кашу въ бълыхъ лебедей, а они радостно били крыльями. Такое было

кругомъ сіяніе!

Въ китайскій красный халать быль одіть баринъ, съ золотыми головастыми змѣями, и золотая мурмолка сіяла на головъ, какъ солце. Такъ и сіялъ, какъ икона. И день былъ погожій, теплый, полный весенняго свъта — съ воды и съ неба. Какъ въ снъту, бълый быль островокъ въ черемуховомъ цвътъ. Стучали ясными топорами плотники на мосткахъ, выкладывали перильца бълой березой.
Услыхалъ Илья, какъ говоритъ весело баринъ:
— Лебедь есть птица боговъ, Сафо. Помни это.

Они полны благородства и красоты. Помии это. Поиграй на струнахъ.

Радовался Илья. Зналъ, что въ духъ сегодня баринъ, если разговариваеть съ Сафо — Сонькой Лу-

поглазой.

Вся въ бъломъ была Сафо, какъ отроковица на иконъ въ монастыръ, съ голубками. Приказалъ ей баринъ надъвать бълый саванъ, распускать чрные волосы по плечамъ, на голову вздъвать золотое кольцо, а на ногахъ носить съ ремешками дощечки. Приказалъ бълить румяныя щеки и обводить глаза углемъ. Совсъмъ новой становилась тогда она, какъ на картинкахъ въ домъ, и любилъ смотръть на нее Илья: будто святая. А черезъ плечо висъли у ней гусли, какъ у царя Давида. Самая красивая была

она, и ее покупаль еще у стараго барина завзжій охотникь, даваль пять тысячь. Такъ говориль Спиридошка-поварь, ея отець. Ненужна она была старому барину; слабый онъ быль совсём, а только потому и не продаль, что очень она была красива тёломь, — любиль сидёть и смотрёть. А когда сталь на власть молодой баринь, взяль ее изъ дёвичьей въ покои, на особое положеніе, и приказаль называть ее всёмъ — Сафо. Такъ и звали, подлащивались къ новой любимицё, а межъ собой стали звать — Сова Лупоглазая. Даже Спиридошка-поварь, Сонькинъ отець, передавая ей блюдо съ любимымъ кушаньемъ барина, бараньими кишками съ кашей, говорилъ уважительно:

— Пожалуйте вамъ, Сафа Спиридоновна, кишочки.

А вслъдъ плевался и кричалъ на Илью:

— Чего, паршивецъ, смъешься!

Выбрался Илья на прудовую дорожку и издалёка упаль на колъни. Сказалъ:

— Отпустите, баринъ, съ отцомъ... поработать на монастырь!

Зналъ Илья, — никогда баринъ сразу не обернется, а все слышитъ. Покормилъ баринъ лебедей. вытеръ о халатъ руки и приказалъ подойти ближе. Сказалъ:

— Это ты, грамотей? — и погладилъ по головъ. — Ты красивый парень. Скажи, Сафо... любять его дъвки?

Сафо закатила глаза, — училъ ее такъ баринъ, — выставила ногу и сказала нараспъвъ въ небо:

— О, не знаю-съ, баринъ!

Испугался Илья: разсердился баринъ, не пустить его въ монастырь на работу. А баринъ затопалъ

и замахаль руками:

— Дура! Не баринъ — надо, **а** го-спо-динъ! Такъ говорили греки! Слушай: «не знаю, о, мой госполинъ». — Въ монастырь работать? А ну, что скажешь, Сафо?

Тогда Илья съ мольбой посмотрълъ на Сафо, и его глаза застлало слезами. И опять испугался.

Сказала Сафо опять:

— 0... можно, баринъ! Затопаль баринь еще пуще.

— Ахъ ты, ду-ра утячья! Пошла, пошла!... Выучись по моей запискъ съ Петрушкой... Постой... Повтори: «отпусти его, о, господинъ мой»! И поиграй на струнахъ.

Обрадовался Илья: она ладно сказала, отвер-

нувъ голову, и позвонила на гусляхъ.

— Ступай, — сказалъ баринъ. — Благодари ее за вкусъ манеръ. А то бы не работать въ монастыръ. Ей обязанъ!

До самой смерти помниль Илья то свётлое утро съ лебедями и бёдную, глупенькую Сафо-Соньку. Не скажи она ладно — было бы все другое.

ΙV

Радостно трудился въ монастыръ Илья. Еще больше полюбилъ благолъпную тишину, тихій говорь и святые на стінахь лики. Почуяль сердцемъ, что можеть быть въ жизни радость. Много горя и слезъ видълъ и чуялъ Илья и испыталъ на се-бъ; а здъсь никто не сказалъ ему худого слова. Святымъ гляделось все здёсь: и цветы, и люди. Даже обгрызанный черный ковшикъ у святого колодца. Святымъ и ласковымъ. Кротко играло солнце въ позолотъ иконъ, тихо теплились алые огоньки лампадъ... А когда взывала тонкимъ и чистымъ, какъ
хрусталекъ, дъвичьимъ голоскомъ сестра подъ темными сводами низенькаго собора — «изведи изъ темницы
душу мою»! — душа Ильи отзывалась и тосковала
сладко.

Расписывали соборъ заново живописные мастера-вязниковцы, изъ села Холуя, знатоки уставного ликописанія. Облюбовалъ Илью главный въ артели. старикъ Арефій, за пригожесть и тихій нравъ, приглядълся, какъ работаетъ Илья мелкой кистью и чертитъ углемъ, и подивился:

— Да братики! да голубчики! Да гдъ-жъ это онъ

выучку-то заполучиль?!

И показываль радостно и загрунтовку, и какъ наводить контуръ, и какъ вымърять лики. Восклицаль радостно:

— Да братики! да вы на чудо-те Божіе погля-

дите! да онъ же не хуже-те моего знаеть!

Дивился старый Арефій: только покажешь, а

Ильъ будто все извъстно.

Проработалъ съ мъсяцъ Илья — поручилъ ему Арефій писать малые лики, а на большихъ — одъяніе. Училъ уставно:

— Святому вохры-те не полагается. Ни киновари, ни вохры въ бородку-те не припускай, нъть ры-

жихъ. Одинъ Іуда рыжій!

Выучился Илья зракъ писать, бълильцами свътлую точечку становить, безъ циркуля, отъ руки, нимбикъ класть. Крестился Арефій отъ радости:

— Да вы, братики, поглядите! да кокой же золотой паледъ! Да это же другой Рублевъ будетъ!

Земчугь въ новозъ обрълъ, Господи! — поокивалъ Арефій, допрашиваль маляра Терёшку: — Да откудова онъ у те взялся?

Смотрълъ Терёшка, посмъивался:

— По седьмому году онъ у меня сани расписывалъ глазками павлиньими, по восьмому варабеску у потолку наводилъ!

Приходили монахини, подбирали блъдныя гу-

бы, покачивали клобуками:

— Благодать Божія на немъ... произволеніе! Стыдливо смотрълъ Илья, думалъ: такъ, жалъетъ его Арефій. Радостно давалась ему работа. За что же хвалить? Сказаль Арефію:

— Мнъ и труда нимало нъту, одна радость.

Растрогался Арефій до слезъ и открыль ему первому великій секреть — невыцвътающей киновари:

— Яичко-те бери свъжехонечкое, изъ-подъ курочки прямо. А какъ стирать съ киноварью будешь, сушь бы была погода... ни оболочка! Небо-те какъ Божій глазокъ чтобы. Капелечки водицы единой ни Боже мой! да не дыхай на красочку-те, ротокъ обвяжи. Да про себя, голубокъ, молитву... молитовочку шопчи: «Кра-а-суйся — ликуй и ра-а-дуйся, lepvcалиме!»

Самъ все нашептываль-напъваль эту кроткую, радостную пъснь Церкви, когда выписывалъ въ слабомъ свъть, подъ куполомъ, стараго Бога-Саваова, маленькій и легкій, какъ мошка.

Уже старый-старый быль онь, съ глазками-лучиками, и, смотря на него, думаль Илья, что такіе были старенькіе угодники — Сергій и Савва, особо почитаемые Арефіемъ.

Стояла въ монастырскомъ саду караулка, одинъ срубъ, безъ настила, - крытая по жердямъ соломой. Туть и жили живописные мастера, а объдать ходили въ трапезную палату.

Еще когда цвъли яблони, въ первые дви работы, вышель Илья изъ караулки на восходъ солнца. Весь бълый быль садъ, въ слабомъ свътъ просыпающагося солнца, и хорошо пъли птицы. Такъ хорошо было, что переполнилось сердце, и заплакалъ Йлья отъ радости. Сталъ на колъни въ травъ и помолился поутреннему, какъ зналъ: учила его скотница Агафья. А когда кончиль молитву, услыхаль тихій голось: «Илья!» И увидаль бълое видъніе, какъ мыльная пъна или крутящаяся вода на мельницъ. Одинъ мигъ было ему это видъніе, но узрълъ онъ будто глядъвшіе на него глаза... Въ страхъ приникъ онъ къ травъ и лежалъ долго. И услыхалъ — окликаетъ его Арефій:

— Ты что. Илья?

Поднялся Илья и разсказалъ Арефію: видълъ глаза, такіе, какихъ ни у кого нътъ.

— Ну, какіе? — допытывался Арефій.

— Не знаю, батюшка... такихъ ни у кого нъту... Могь, защурясь, вызвать эти глаза, а сказать не могъ.

— Строгіе, какъ у Николы-Угодника? У Ильи-Пророка? — все допытывался встревоженный Арефій.

— Нъть, другіе... черезъ нихъ видно... будто и во весь садъ глаза, свътленькіе...

Покачаль задумчиво головой Арефій: такъ, со сна показалось. Не повърилъ. А Илья весь тотъ день ходиль, какь во снъ, и боялся, и радовался, что было ему виденіе: слыхаль, какь читали монахини вь трапезной Житія, что бывають виденія къ смерти и послушанію.

Съ этого утра положилъ Илья на сердцъ своемь — служить Богу. Только не разумъль — какъ.

Ласково жили въ монастыръ: ласку любилъ Арефій. Всёхъ называлъ — братики да голубчики, подбадривалъ нерадивыхъ смёшкомъ да шуткой. Много зналъ онъ ласково-радостныхъ сказочекъ про святыхъ, чего не было ни въ одной книгъ: почему у Миколы глаза строгіе, какъ октябрь мъсяцъ, почему Касьянъ — ръдкій именинникъ, а Ипатія пишуть съ тремя морщинками. Обвъвало все это благостной теплотой мягкое Ильино серице.

Спрашивалъ Илья Арефія:

— А почему мученики были греки а то рымляне... а нашихъ нъту?

— А воть тебъ царь Борись-Глъбъ, наши! Ми-

трополить Филиппъ... Димитрій-Царевичъ!

— А мужики-мученики, какіе?

— Karie? A погоди...

Припоминаль Арефій: юродивие, блаженние, столпники, преподобные...

Не могь вспомнить. Слушаль малярь-Терёшка,

посмъивался:

— Краски, дядя Арефій, про всёхъ не хватить... много насъ больно. Потому и не пишуть!.. Да и образина-то... рыломъ не вышли!..

Разсердился Арефій, поморщился:

— Ты этимъ не шути, братикъ! Августъ подходилъ, краснъли по саду яблоки. Заканчивалась живописная работа. Загрустила душа Ильи. Когда спали послъ транезы мастера, и замирало все въ тишинъ монастырской, уходиль Илья въ старый соборь, забирался на лъса, подъ куполь, гдъ дошисываль Арефій Саваова съ Ангелами и бълыми голубями у подножія облаковь. Сидъль въ тишинъ

соборной. Вливались въ соборъ черезъ узкія рѣшетчатыя оконца солнечные лучи-потоки, а со стѣнъ строго взирали мученики и святые. И подумалось разъ Ильѣ: всѣ лики строгіе, а какъ же въ Житіяхъ писано, — читали монахини за трапезой, — что всѣ радовались о Господѣ? Задумался Илья, и вдругъ услыхалъ онъ, какъ зашумѣло-зазвенѣло у него въ ушахъ кровью, и заиграло сердце. Вспомнилъ онъ, что скоро уйдетъ Арефій, и захотѣлось ему сдѣлать на прощанье Арефію радость. Тогда, весь сладко дрожа, помолился Илья на Бога-Саваова въ облакахъ и евангелисту Лукѣ, самому искусному ликописному мастеру, — помнилъ наказъ Арефія, — отпилилъ сосновую дощечку, загрунтовалъ, — и утвердилась его рука. Недѣлю, втайнѣ, работалъ онъ подъ куполомъ въ послѣобъденный часъ.

И вотъ, наступилъ день прощанья: уходилъ Арефій съ мастерами, и онъ съ отпомъ — къ своему мъсту. Тогда, выбравъ время, какъ остались они вдвоемъ на лъсахъ, подалъ Илья съ трепетомъ и любовью Арефію икону преп. Арефія Печерскаго.

Взглянулъ Арефій на иконку, вскинулъ красные глазки съ лучиками на Илью и вскричалъ радостно:

- Ты, Илья?!
- $\mathfrak{A}\dots$ тихо скзалъ Илья, озаренный счастьемъ. Порадовать тебя, батюшка, помнить про меня будешь...

Заплакалъ тогда Арефій. И Илья заплакалъ. Не было никого на лъсахъ, подъ куполомъ, только съдой Саваоеъ сидълъ на облакахъ Славы. Сказалъ Арефій:

— Да что же ты, голубокъ, сдълалъ-то! Ты меня... самоличнаго... въ преподобнаго вообразилъ! Гръшника-те... о, Господи!

Ничего не сказалъ Илья. Все было писано по уставу ликописанія: схима, церковка съ главками и пещерка у ногъ преподобнаго, — все вызналъ Илья отъ Арефія, какое уставное ликописаніе его Ангела. Только ликъ взялъ Илья отъ Арефія: розовыя скульцы, красные, сіяющіе лучиками глаза и съдую ръденькую бородку.

Показаль мастерамь Арефій: посм'вялись, жи-

вой Арефій.

— То портреть церковный — раздумчиво сказаль Арефій. — Не съ нами тебъ, Илья ... Пла-

вать тебъ по большому морю.

Путь ихъ лежалъ на Муромъ, и пошли они на Ляпуново, лъсомъ. Всю дорогу шелъ Илья по кустамъ, набиралъ для Арефія малину, переживая тяжелую разлуку. Въ слезахъ говорилъ Арефій:

- Господи, великую радость являешь въ челокъкъ. Не могу такъ уйти: пойду, Илья, сказать твоему барину. Не могу тебя такъ оставить.
 - Увхалъ далече баринъ... сказалъ Илья.

А когда показалось за Проточкомъ высокое Ляпуново съ прудами и барскимъ домомъ, ухватился Илья за Арефія и заплакалъ въ голосъ. Постояли минутку молча, и сказалъ Арефій:

— Плавать бы тебъ, Илья, по большому морю! И разошлись. И никогда больше не встрътились. Ушли мастера на Муромъ.

٧

Осенью воротился со степей баринъ и привезъ лису чернобурую, дъвку-цыганку. Прогналъ съ глазъ встрътившую его Соньку-Сафо и приказалъ всъмъ почитать цыганку за барыню, называть Зоя Александровна.

Была та Зойка-цыганка вертлявая, худящая, какъ оса, и злая. Когда злилась — гикала по всему дому, визжала по-кошачьи и лупила по щекамъ дъвокъ. Вытрясла изъ сундуковъ старыя шали, шелка и бархаты, раскидала по всему дому, даже на ствны въшала. Загоняла старую ключницу Фофёлиху. Возами возили изъ города и сукна, и штофъ, и парчу, и всякіе наряды, а Зойка валялась по полу въ лентахъ и вызванивала на гитаръ. Дивились люди, что даже барина по щекамъ лупить: опоила.

Тутъ пришла на Илью напасть: велълъ баринъ при столъ стоять въ полномъ парадъ. Надълъ Илья красный камзоль, бълый парикь съ косицей, зеленые чулки и туфли съ пряжками, и кисейный галстукъ.

Увидала его цыганка и закатилась смъхомъ:

— Марькизъ-то вшивый!

И баринъ сталъ звать, и дворовые, и даже мальчишки на деревнъ кричали:

— Марькизъ-то вшивый!

Было Ильъ обидно непонятное слово. Днями сидълъ онъ въ лакейской и плакалъ втайнъ, вспоминая Арефія.

Туть пришло на него горшее искушеніе. Уъхаль баринъ на медвъжью охоту, на цълую недълю. Садилась Зойка за столъ одна, въ красныхъ шаляхъ, пила стаканами ренское вино. Упилась разъ до злости, обожгла Илью черными глазами и приказала пить за ея здоровье. Никогда не пилъ Илья вина — гръха боялся. А туть поскидала съ себя Зойка красныя шали, оголилась до пояса, подтянула подъ темныя груди алую ленту съ нанизанными червонцами и уставилась на Илью глазищами. Опустиль Илья глаза въ поль отъ искущенія. А она притянула его за руку къ себъ и заворожила глазами-змъями. Поглядъль Илья на ея жаркія губы и убъжаль въ страхъ отъ соблазна. А она смъялась.

Понялъ тогда Илья, что послано ему искущеніе, помолился Страстямъ Господнимъ и укръпился.

Послѣ объда повалилъ снѣгъ, и зашумѣла на дворѣ метелюга. Тогда крикпула Ильѣ Зойка — топить самый большой каминъ, Львиную Пасть, приказала ему сидѣть при огнѣ неотлучно и замкнула его въ опочивальной. Понялъ тогда Илья, что идетъ на него новое искушеніе. Сталъ на колѣни и помолился Іоанну Кіевскому. И слышитъ:

— Ступай, Фефёлиха, въ банью!

Вошла Зойка въ опочивальную, а дверь замкнула. Стало въ опочивальной жарко. Тогда выбъжала Зойка изъ-за ширмы, босая и обнаженная, ухватила Илью сзади за шею и потребовала имъть съ ней гръхъ. Но совладалъ Илья съ искушеніемъ: схватилъ горящую головешку и ткнулъ ею въ голую грудь блудницы. Слышалъ только визгъ неистовый, похожій на кошачій, и уже ничего не помнилъ. Очнулся и видитъ: сидитъ онъ въ своей каморкъ, на тюфякъ, а на дворъ ночь черная, и шумитъ метелюга. Пришла старая Фефёлиха и смъется:

 — Змѣя-то наша спъяну на головешку упала, ожилась.

Не сказаль Илья про искушеніе. Не трогала его съ той поры Зойка. А на масленицъ повезъ баринъ Зойку въ Кіевъ, на ярмарку, а воротился одинъ: пропала она безъ въсти.

Поняль тогда Илья, что послана была ему Зой-ка-цыганка для искушенія: ему и барину.

Оталь посл'в того баринь тихій. Даже на охоту пересталь 'вздить, а приказаль открыть большой шкаль съ книгами, — не помниль Илья, когда его открывали, — и сталь читать съ утра до вечера. Сталь читать и Илья, и читаль съ охотой. И узналь много новаго о жизни и людяхъ.

И вдругъ баринъ совсѣмъ перемѣнился. Призвалъ Гришку Патлатаго, портного, и велѣлъ шитъ на него власяницу. Не зналъ Гришка, какая бываетъ власяница, и сшилъ онъ халатъ изъ колючаго войлока. Надѣлъ баринъ халатъ на голое тѣло и подпоясался веревкой. Сказалъ Илъѣ:

— Надо спасать душу.

Тогда попросиль Илья, чтобы дозволиль баринь и ему надъть власяницу. И стали они вести жизнь подвижническую. Будиль баринь по ночамь Илью и наказываль читать Псалтырь. А самъ становился на колъни, на горку крупы съ солью, и стояль до утра.

Недъли двъ такъ молился баринъ. Радовался Илья. И перемънилось вдругъ.

Ночью было. Читалъ Илья изъ псалма любимое: ... «азъ возьму крылъ моя рано и вселюся въ послъднихъ моря ...» — какъ баринъ крикнетъ:

 Стой, маркизъ! Буди всѣхъ, зови сюда пѣвчихъ дѣвокъ!

Понялъ Илья, что это барину искушеніе, и продолжаль: «и тамо бо рука Твоя...» Но еще пуще закричаль баринь. Тогда разбудиль Илья пъвчихъ дъвокъ. Собрались дъвки въ бълыхъ покрывалахъ, какъ, бывало, Сафо ходила, и запъли сонными голосами любимую баринову «Венеру»:

Единъ младъ охотникъ Въ полъ разъвзжаеть, Въ островахъ лавровыхъ Нъчто примъчаетъ... Венера-Венера! Нъчто примъчаетъ.

Не далъ имъ кончить баринъ, приказалъ выдать сушенаго чернослива и спать ложиться. Сказалъ:

— Опостыльли вы мнь, головы утячьи! Не умьете жизни радоваться, и мнь черезъ васъ радости нът. Уъду отъ васъ на край свъта. А съ собой Илюшку возьму за камердинера. Сшить ему камзоль сърый съ золотыми пуговицами! И пошли всъ вонъ!

Пошель Илья въ свою каморку, при лакейской, подъ лъстницей. И ужъ взялъ было иконку мученика Терентія, отцу дописывать, — по ночамъ втайнъ работалъ, — отворилась дверь, и спросилъ баринъ:

— Это что такое, огонь горить?!

Тогда въ страхъ признался Илья въ слабости своей: сказалъ, что по ночамъ только трудится, а лнемъ выполняетъ положенное. Взял баринъ иконку, увидалъ, что похожъ мученикъ на маляра Терёшку, и сказалъ, поднявъ руки:

— Ты, дуракъ, и не понимаешь, что ты геній! Но ты и негодяй за то, что во святого мученика Те-

рен-тія Терёшку пьяницу произвель!

Потребовалъ показать — еще что писано. Зойку-цыганку призналъ на листъ, на стънкъ; въ пещеръ она лежала, какъ Марія Египетская. Сорвалъ со стънки и подъ власяницу спряталъ. Призналъ и себя: сидёль въ золотой короне на высокомъ троне. Вскричаль грозно:

— Я? въ коронѣ?!

Затрепеталъ Илья и палъ на колъни, прося прощенія. Но не разсердился баринъ, далъ поцъловать руку и сказалъ милостиво:

— Персть Божій меня привель. Значить, должень я тебя повезти въ науку. Петръ Великій посылаль дураковь за море учиться, воть и я тебя повезу. Пусть знають, какіе у насъ русскіе геніи даже изъ рабовь! Спи и не стращись наказанія.

И обрадовался Илья, что такъ обернулось. Потому что хотълъ онъ написать Діоклетіана-гонителя и мучениковъ, а не успълъ написать и имя-рекъ не вывелъ.

VI

Весна пришла, а все готовили барина въ дальнюю дорогу. Налаживали кузнецы и каретники дорожную раскидную коляску: и спать, и принимать пищу, и всячески прохлаждаться можно было въ той раскидной коляскъ: потому и называлась она — ладно.

Отпъли Пасху. Полный расцвъть весны былъ. Забълъло черемухой кругомъ пруда. Прощался Илья со всъми. И на пруду посидълъ, и съ лошадъми попрощался. Сбъгалъ на скотный дворъ къ теткъ — поплакать передъ разлукой. Утъшала его тетка Агафья — барская воля, покоришься. Творожку въ узелочкъ дала ему на дальнюю дорогу и мъди пятакъ на свъчку Угоднику Миколъ: въ дальнихъ краяхъ мощи его неглънно почивають, кто и ука-

жеть, можеть. У отца попросиль благословенія и со слезами простился: тяжко больной другой мъсяць лежаль малярь-Терёшка, отнялись у него ноги. Заплакаль Терёшка — никогда раньше не видаль Илья, какъ отець плачетъ: всегда смъялся. И Спиридошкъ-повару поклонился въ ноги, благодариль за ласку: даваль ему Спиридоша барскіе кусочки. Сбъгаль и на погость, къ Каплюгъ...

Сказалъ ему Каплюга:

— Есть въ городъ всесвътномъ, именуемомъ Рымъ-городъ, самый главный соборъ, и сидитъ въ томъ соборъ Папа Рымскій, за Христа почитаемый. Всъмъ велитъ цъловать ногу. Ту ногу не цълуй, смотри.

Далъ ему Каплюга четвертакъ серебрявый — на свъчу Петрову Гробу, сказалъ:

— Кто Петрову Гробу свъчу поставить — въ рай попадеть. За грамоту мою услужи.

Сбъгалъ и въ монастырь Илья: обернулъ за ночь. Горячо помолился въ утрени... А какъ бъжалъ обратно лъсной дорогой — простился съ лъсомъ. Новымъ показался ему тогъ лъсъ, въ новыхъ иглахъ, въ бълой калинъ, въ весело зеленъвшемъ оръшникъ. Соловьи заревые щелкали по оврагамъ. И соловьямъ говорилъ — прощайте, и ключику-кадушкъ въ логу, и ястребамъ въ небъ. И будто слышалъ Илья, какъ говоритъ ему лъсъ: воротишься.

Приказалъ баринъ служить въ церкви молебенъ «въ путь шествующимъ». Согналъ бурмистръ «Козутопъ Иванычъ» на проводы всю деревню. Послъ молебна объявилъ баринъ мужикамъ, что не для радости какой ъдетъ, а отъ великой скорби: скушно

ему глядъть на темную жизнь, никогда веселаго лица не видить.

— Ворочусь — новую церковь, просторную, выведу для васъ. А воть обучу тамъ Илью, — онъ и распишеть... Будете веселъй молиться.

Взялъ въ дорогу, чтобы не скучно было, глупенькую Сафо-Соньку, приказалъ надъть цыганкино платье и зеленую тальму. И поъхали, провожаемые верховыми до большого тракта.

Пошли чужія села и деревни, и лѣса, и города, большіе и малые. Ново и радостно было Ильѣ все это. Налетали ливни и грозы, жарило солнцем и обсушивало вѣтрами. Дни и ночи смотрѣль Илья съ валкаго мѣстечка на козлахъ — радовался. Не случилось въ пути до самой границы никакого лиха, и отпустиль домой баринъ силача шорника Панфила съ пистолетомъ, свою охрану. Одно случилось, сильно опечалившее Илью: у самой границы пропала Сафо, какъ камень въ воду. Пошла въ городкѣ покупать барину чулки шерстяные, необыкновенные, — проѣзжіе все хвалили, — повелъ ее старый полякъ-дѣляга, — и пропала. Три дня простояли въ томъ городкѣ, у городничаго жили, всѣ мѣста непотребныя обыскали. Пропала Сафо, какъ въ воду камень. Сказалъ баринъ:

— Туда ей и дорога, шельмѣ! Такъ и зналъ, какая у ней повадка.

Поплакалъ Илья на своемъ мъстечкъ, а потомъ вспомнилъ, какъ перешептывался съ Сафо Панфилъ-шорникъ, какъ онъ же сыскалъ и того поляка-дълягу, и подумалъ: можетъ, ушли въ нъмецкую землю. Не сказалъ барину: можетъ, тамъ лучше будетъ.

Четыре года прошло, и были эти четыре года, какъ сонъ свътлый: затерялась въ немъ далекая Ляпуновка.

Снились — были новая земля и новое небо. А свътлъе всего была давшаяся нежданно воля:

иди, куда глазъ манить.

море видълъ Илья — синее земное око, горы — земную грудь, и всесвътный городъ, который называють: Въчный. Новыхъ людей увидълъ и полюбилъ Илья. Чужіе были они — и близкіе. Радостнымъ, несказаннымъ, раскинулся перед нимъ Міръ Божій — просторъ безкрайній. И новыя надъ нимъ звъзды. И цвъты, и деревья — все было новое. И новое надо всъмъ солнце.

Чужое было, незнаемое — и свое: прилѣпилась къ нему душа. Даже и своего Арефія снова нашелъ Илья, сѣденькаго, быстраго, съ такими же розовыми скульцами и глазами-лучиками. Только свой Арефій хлопалъ себя по бедрамъ и восклицалъ распѣвомъ:

— Да го-лубь ты мо-ой!

А этотъ хваталъ за плечо и вскрикивалъ:

— Браво, руски Иля!

Взлеть души и взмахъ ея вольныхъ крыльевъ позналъ Илья и неиспиваемую сладость жизни. Изливалась она, играла: и въ свътъ новаго солнца, и въ сладостныхъ звукахъ церковнаго органа, и въ облыхъ лиліяхъ, и въ неслыханномъ перезвонъ колоколовъ. Переливалась въ его глаза со стънъ соборовъ, съ бълыхъ гробницъ, съ безцънныхъ полотенъ сокровищницъ. Новыя имена узналъ и полюбилъ Илья: Леонардо и Микель-Анджело; Тиціана и Рубенса; Рафаэля и Тинторетто.... Камни старые узналь и полюбиль Илья, и приросли они къ его молодому сердцу.

Годъ учился онъ въ городъ Дрезденъ, у русска-

го рисовальщика Ивана Михайловича.

Непонятно было Ильъ тогда: вольный быль человъкъ Иванъ Михайловичъ и сильно скучалъ по родинъ, а ъхать не могъ. Обласкалъ его этотъ человъкъ, какъ родного, говорилъ часто:

— Помни, Илья: народъ породилъ тебя — народу и послужить долженъ. Сердце свое слушай.

Не понималь Илья, какъ народу послужить можеть. А потомъ поняль: послужить работой.

Прошелъ годъ. Сказалъ Ильъ рисовальшикъ:

— Больше тебъ оть меня нечего взять, Илья. Велико твое дарованіе, и сердце твое лежить къ духовному. Такъ и напишу владътелю твоему. А совъть мой тебъ такой: наплюй на своего владътеля, стань вольнымъ.

Тогда сказалъ ему Илья, удивленный:

— Если я уйду тайно отъ барина, какъ могу я воротиться на родину и послужить своему народу? Скитаться мнъ тогда, какъ бродягъ. Я на дъло повезенъ бариномъ: обучусь — распишу церковь. Вотъ и послужу родному мъсту.

Опредълилъ его тогда баринъ въ живописную мастерскую въ городъ Римъ, къ ватиканскому мастеру Терминелли. Работалъ у него Илья три года. Былъ онъ красивый юноша и нъжный сердцемъ,

Быль онъ красивый юноша и нъжный сердцемъ, и всъ товарищи полюбили его. Были они парни веселые и не любили сидъть на мъстъ. Прозвали они Илью — фанчулла, что значить по-русски — дъвочка, и насильно водили его въ трактиры и на танцы, гдъ собирались красивыя черноглазыя дъвушки.

Но не пиль Илья краснаго вина и не провожаль дёвушекъ. Дивились на него товарищи, а дёвушки обижались. Только одна изъ нихъ, продававшая цвёты у собора, тихая, маленькая Люческа, была по сердцу, но не посмёлъ Илья сказать ей. Но однажды попросиль ее посидёть минутку и уголькомъ нанесъ на бумагу. Посмёялись надъ нимъ товарищи:

— Все равно, она у него и такъ живая!

Спрашивали Илью:

— Кто ты, Илья? И кто у тебя отецъ въ твоей холодной Россіи?

Стыдно было Ильъ сказать правду, и онъ говориль глухо:

— Мой отецъ маляръ, служитъ у барина.

И еще стыднъе было ему, что говорить неправду. А они были всъ вольные и загадывали, какъ будуть устраивать жизнь свою. Спрашивали Илью:

— А ты, Илья... въ Россію свою поъдешь?

Онъ_говорилъ глухо:

— Да, въ Россію.

На третьемъ году написалъ Илья церковную картину, по заказу отъ господина кардинала. Хлопнулъ его по плечу Терминелли, сказалъ:

— Эта святая Цецилія не хуже Ватиканской! ()на лучше, Илья! Она — святая. Нъть, ты не рабъ, Илья!

Поникъ головой Илья: стало ему отъ того слова больно. Понялъ его старый Терминелли, затрепалъ по плечу, заторопился:

— Я хотълъ сказать, что ты не берешь отъ другихъ... ты — самъ!

А потомъ видълъ Илья, какъ отсылали картину

кардиналу, а въ правомъ уголку стояла черная под-

пись: Терминелли.

Къ концу третьяго года сталъ Терминелли давать Ильъ выгодную работу: расписывать потолки и стъны на подгороднихъ виллахъ. Триста лиръ заработалъ онъ у виноторговца за одну недълю и еще двъсти у мясника, которому написалъ Мадонну. Горячо хвалили его работу. И сказалъ Терминелли:

— Ты — готовый. Теперь можешь ставить на работь свое имя. Не ъзди, Илья, въ Россію. Тамь

дикари, они ничего не понимають.

Сказалъ Илья:

— Потому я и хочу тать.

Сказалъ удивленный Терминелли:

— Здъсь ты будешь богатый, а тамъ тебя могуть убить кнутомъ, какъ раба!

Тогда посмотрълъ Илья на Терминелли и ска-

заль съ сердцемъ:

— Да, могуть. Но тамъ, если я напишу св. Цецилію, будуть радоваться, и рука не подымется на меня съ кнутомъ. А на работъ будеть стоять мое имя — Илья Шароновъ.

Понялъ Терминелли и устыдился. Далъ Ильъ

иятьсоть лиръ, но Илья не взялъ.

Сказалъ Терминелли:

— Вотъ ты рабъ, а гордый. Трудно тебъ будетъ у твоего господина. Оставайся, я дамъ тебъ самую большую плату.

Но не хотълъ никакой платы Илья: томила его

тоска по родному.

Все радостное и свътлое было въ въ тепломъ краю, гдъ онъ жилъ. Грубаго слова, ни окрика не услыхалъ онъ за эти три года. Ни одной слезы не видалъ и думалъ — счастливая сторона какая. Пъсенъ

веселыхъ много послушалъ онъ «пъли на улицахъ, и на площадяхъ, и на деревенскихъ дорогахъ, и по садамъ, и въ поляхъ. Вездъ пъли. А были дни праздниковъ – тогда и пъли, и кидались цвътами. А за крестнымъ ходом, — видълъ Илья не разъ, — выпускали голубей чистыхъ и жгли огни съ выстрълами: радовались.

Но еще больше тянула душа на родину.

Многое множество цвътовъ было кругомъ, — бълые и розовые сады видълъ Илья весною: и лиліи бълыя, тихіе цвъты мучениковъ, и маленькія фіалки, и душистая бълая акація, миндаль и персикъ, пахучіе, сладкіе цвъты апельсинныхъ и лимонныхъ деревьевъ, и еще многое множество розъ всякаго HBŤTA.

Но весной до тоски тянула душа на родину. Помнилъ Илья тихіе яблочные сады по веснъ, милую калину, какъ снъгомъ заметанныя черемухи и убранныя ягодами раскидистыя рябины. Помнилъ синіе колокольчики на лъсныхъ полянахъ, восковыя свъчечки ладанной любки, малиновые глазкизвъздочки липкой смолянки и пушистыя георгины, которыми убирають Животворящій Крестъ. И снъговые сугробы помниль, вьюжные пути, и ледяные навъсы въ соснахъ. Помниль гуль осеннихъ лъсовъ, визгъ и скрипъ санный въ поляхъ и звонкій, и гулкій, какъ колоколъ, голосъ мороза въ бревнахъ. Весеннія грозы въ свътдыхъ поляхъ и ласковую, милую съ дътства радугу.

Бъдную церковъ видълъ Илья за тысячи версть. — и не манили его богатые, въ небо тянувшіеся соборы. Закутку въ церкви своей помнилъ Илья, побитую жестяную купель и выцълованныя понизу досчатыя иконы въ полинялыхъ лентахъ. Сумрачныя лица смотръли за тысячи версть, лохматыя головы не уходили изъ памяти. Ночью просыпался Илья послъ родного сна и тосковаль въ одинокихъ думахъ.

Два письма получилъ онъ отъ барина: требоваль баринъ на работу. Тогда заколебался Илья: новая душа у него теперь, не сможеть терпъть, что терпъль и что терпять другіе, темные. Откладываль день отъъзда. Да еще разъ позвалъ его старый Терминелли и смутилъ богатой работой: звалъ его на княжескую виллу, работать въ-паръ.

Сказалъ строго:

— Ты, Илья, человъкъ неблагодарный. Твою работу будеть видъть король Неаполитанскій! Ты сумасшедшій парень, русскій Илья! Я положу тебътысячу лиръ въ мъсяць! Подумай. Придеть время, и, я даю тебъ слово: будень писать портреть самого Святьйшаго Отца, Папы! . . . Честь эта выпадаеть ръдко.

Смутилась душа Ильи, и сказаль онъ:

— Дайте, подумаю.

Туть случилось: сонъ увидаль Илья.

Увидаль Высоко-Владычній монастырь съ садами, будто смотрить съ горы, отъ лѣса. Выходить народь изъ монастыря съ хоругвями. Тогда спустился Илъя съ горы и пошелъ съ народомъ, и пѣлъ пасхальное. Потомъ за старой иконой прошелъ въ соборъ — и нестало народу. И увидѣлъ Илья съ трепетомъ голыя стѣны съ осыпающейся на глазахъ известкой, кучи мусора на землѣ и гнѣзда иконъ, — мерзость и запустѣніе. Заплакалъ Илья и сказалъ въ горѣ: «Господи, кто же это?» Но не получилъ отъѣта. Тогда поднялъ онъ лицо свое къ Богу-Саваоеу и увидалъ на зыбкой дошечкѣ незнаемаго старца съ кистью. Спросилъ его: «кто такъ надругался надъ

святыней?» Сказалъ старецъ: «Иди, Илья! не надругался никто, а новую роспись дълаемъ, по слову Господню». Тогда подумалъ Илья, что надо взять кисти и палитру и сказать, что надо Арефія на работу, а то мало... И запълъ радостно: «красуйсяликуй и радуйся»!..

И проснулся. Слышаль, просыпаясь, какъ пѣлъ со слезами. И мокры были глаза его. Сказалъ твердо: домой поѣду, было это мнѣ вразумленіе.

И отказался оть почетной работы.

А вечеромъ пошелъ въ маленькую старенькую церковку, на окраинъ, у мутнаго Тибра: чъмъ-то она была похожа на его родную церковь. Часто выстаивалъ онъ тамъ вечерню и любовался на стънное писаніе: «Послъднее Воскресеніе». Стоялъ передъ Богоматерью въ нишъ, тоскующій и смятенный, и вопрошалъ: надо ли ему ъхать? И услыхалъ восклицаніе: Рах vobiscum!

Слово это — миръ вамъ! — принялъ Илья, какъ отпускъ. А какъ вышелъ изъ церкви, увидалъ хроменькаго старичка съ ведеркомъ и кистью, вспомнилъ отца и подумалъ: «это мнъ указаніе».

Собралъ нажитое, что было, и въ концѣ марта мѣсяца — стояла весна цвѣтущая — тронулся въ путь-дорогу на кораблѣ. Вспомнилъ слово Арефія: «плавать тебѣ, Илья, по большому морю!»

И укрвпился.

VIII

Въ торговомъ городъ, который называется Генуя, сълъ Илья на большой корабль въ парусахъ, — было у него имя — Летеція; значило это имя —

Радость. И въ этомъ имени добрый знакъ уразумѣлъ Илья.

Товаръ радостный везъ тотъ корабль: цвѣтное венеціанское стекло, тонкія кружева, бархатъ и шелкъ, инжиръ и сладкіе финики и цѣлыя горы ящиковъ съ душистыми апельсинами. Черные греки и веселые итальянцы были на немъ корабельщики и пѣли пѣсни: радовались, что счастливый вѣтеръ. Полными парусами набиралъ кораблъ вѣтеръ, бѣлой раздутой грудью, — только шипѣли волны. Сидѣлъ всѣ дни на носу Илья — любовался моремъ, ловилъ глазами. Во многія гавани заходилъ корабль, чтобы взять товары: коринку, миндаль, бочки вина и пузатыя кипы шерсти.

Радовался на все Илья и думалъ: сколько всего на свътъ! Сколько всякихъ людей и товаровъ, — какъ звъздъ на небъ. Сколько радости на землъ! Думалъ: не случись добраго Арефія — и не зналъ бы. Въ радости свътлой плылъ онъ морями, подъ теплымъ солнцемъ, и, какъ въ духовной работъ, напъвалъ незабываемое: «красуйся-ликуй и радуй-

ся, Іерусалиме! ..»

У береговь греческихъ поднялась черная буря, и стало швырять корабль, но не испугался Илья: какъ равный, помогалъ корабельщикамъ свертывать паруса и тянуть канаты. Работалъ и не замътилъ, какъ пронесло бурю, и опять засіяло солнце. Усталый, уснулъ Илья на горкъ сырыхъ канатовъ и видълъ сонъ. Вдеть онъ на кораблъ мимо зеленаго острова, стоитъ на носу, у якоря, и видитъ: плывутъ отъ острова къ кораблю лодки подъ косыми красными парусами, а въ лодкахъ народъ всякій. Стали подходить лодки, и увидалъ Илья, что это не греки и не итальянцы, а свои, ляпуновскіе все: Спи-

ридоша-поваръ, Панфилъ-шорникъ, конюхъ Андронъ, бурмистръ «Козутопъ Иванычъ» и другіе. Плывуть и машутъ. Тогда закричалъ Илья, чтобы опускали якорь. Загрохаль якорь...

Проснулся Илья и слышить, что опускають якорь. Пришелъ корабль въ незнакомый городъ. Раздумался о своемъ снъ Илья — какую картину

видълъ! къ чему бы это?

Вышелъ на пристань, смотрълъ, какъ турки, въ красныхъ обвязкахъ по головъ, таскали на корабльящики съ табакомъ и боченки съ оливковымъ масломъ. Подивился ихъ силъ. Поразилъ его огромный турокъ въ фескъ съ кисточкой, съ волосатыми руками: по три ящика взваливаль себъ на спину тоть турокъ и весело посмъивался зубами. Быль онъ за старшаго, показалось Ильъ: ходилъ въ головъ всей цъпи. И задрожало у Ильи сердце, крикнулъ онъ, не помня себя отъ радости:
— Панфилъ!! Панфилъ-шорникъ!!

Несъ силачъ-турокъ на спинъ груду ящиковъ. Услыхалъ голосъ, выпрямился въ свой рость, полетъли ящики на землю и разбились о камни: посыпался изъ нихъ сухой черносливъ и синій изюмъ кувшинный.

Радостно-нежданная была та встръча. Сказалъ Панфиль, что ушель тогда изъ Россіи къ православнымъ болгарамъ, работалъ на кукурузъ, а вотъ другой годъ у турокъ товары грузить. Все лучше, чвмъ въ господской власти. И по-ихнему говорить умветь, и бѣлаго хлѣба вволю.

Спрашивалъ Илья про Сафо-Соньку. Не зналъ про нее Панфилъ, пожалълъ:

— Свели ее куда въ домъ веселый. Дъвокъ барскихъ у насъ много, отъ хорошей жизни.

Разказалъ Панфилъ, что копитъ деньги, возьметь землю въ аренду и думаетъ жениться. Сказалъ:

— Жить, Илья, вездв можно, лишь бы воля. А

ты самъ въ кабалу лъзешь.

Пообъдалъ Илья съ Панфиломъ, поълъ вареной баранины съ чеснокомъ на блинъ-чурекъ и все дивился: совсъмъ сталъ Панфилъ туркомъ: табакъ куритъ изъ бумажки и пьетъ кофе. Сказалъ Панфилъ:

— Земля-то одна — Божья. Оставайся, Йлья.

Выдадуть теб'в настоящій турецкій пачпорть.

Вспомнилъ Илья про сонъ, разсказалъ Панфилу. Задумался Панфилъ:

— Вотъ что ... И тятеньку видалъ, значить. Можеть, поди, и померъ ... Скажи ему, живъ я ... отвези ему табаку настоящаго, турецкаго.

Вспомнилъ Илья Панфилова отца, стараго кузнечнаго мастера Ивана-Силу. Сталъ жалѣть: старый Иванъ, горюеть. Заморгалъ Панфилъ, тронулъ кулакомъ глазъ. Сказалъ глухо:

— Самъ сны вижу. Ворочусь, когда будеть воля.

Повелъ Илью на базаръ, купилъ въ подарокъ отцу теплую рубаху и мъдную трубку.

— Скажи, что живу ладно, не пьянствую. А въ

кабалу не желаю.

Пошелъ корабль дальше. Стало Ильъ грустно оть этой нежданной встръчи. Все думаль: въ туркахъ живеть Панфиль и доволенъ. И стало ему горько: совсъмъ черной показалась ему жизнь, на которую добровольно ъдеть. И еще подумаль: нъть, это все искушеніе мнъ, воть и буря пугала. Вечеромъ помолился Илья на западающее солнце и укръпился.

Не было больше искушеній.

Двадцать два года исполнилось Ильъ, когда вернулся онъ въ Ляпуново.

IX

А въ Ляпуновъ за это время многое измънилось. Сломали старую церковь и возвели новую, пошире, вывели широкій и низкій куполъ и поставили малый кресть. И стала церковь похожа на каравай. Прежняя была лучше.

Померъ маляръ-Терёшка и кузнецъ Иванъ-Сила, — сгорълъ отъ вина и горя: тосковалъ по сыну. Некому было отдатъ гостиницы. Померъ и Спиридошаповаръ, и конюхъ Андронъ, и еще многіе. Радъ былъ

Илья, что еще жива тетка Агафья.

Жилъ теперь Илья на скотномъ дворъ, во флигелькъ — на волъ. Когда вернулся, призвалъ его на

крыльцо баринъ и удивился:

— Ну, здравствуй, Илья. Тебя и не узнаешь! будто баринъ . . . Сталъ ты красивый малый. Ну, спасибо.

Похвалилъ привезенную въ подарокъ картину — «Препоясаніе ап. Петра» — давалъ за нее Илъъ триста лиръ содержатель таверны, — и приказалъ повъсить въ банкетной залъ. Похвалилъ, что справилъ себъ Илья хорошую одежу — сюртукъ табачнаго покроя съ бархатными бочками, жилетъ изъ голубого манчестера и сърыя клътчатыя брюки.

— Теперь можешь показаться гостямъ съ прі-

ятпостью.

Похвалилъ и за разумное поведеніе:

— Такъ и думалъ: сопьется мой Илья съ этими безпутными итальянцами! А ты вонъ какой ока-

зался. Будь покоенъ, я твоихъ трудовъ не забуду. Стало мнъ твое обучение за тысячу серебра, вотъ и распишешь церковь. А тамъ увидимъ.

распишешь церковь. А тамъ увидимъ.
Объдъ велълъ брать артельный и еще, как награду, отпускать съ барскаго стола сладкое кушанье:

привыкъ, небось, къ разнымъ макаронамъ!

А самая большая перемъна была, что женился баринъ, и другой годъ, какъ родился у него наслъдникъ. Взялъ изъ Вышата-Темнаго, изъ рода господъ Вышатовыхъ, красавицу. Собиралась она послъ отцовой смерти въ монастырь уйти, а барин тутъ и посватался. Узналъ Илья, что молодая барыня тихая и ласковая, никогда отъ нея плохого слова не слышатъ. Въ своемъ Вышатовъ домъ отдала мужикамъ подъ стариковъ и сиротъ, хотъ и сердился баринъ. Разсказывали Илъъ, что и баринъ перемънился: сталъ совсъмъ тихій и ходитъ за бърыней по ниткъ: все баловство бросилъ.

Воть что разсказывали Ильъ про эту женитьбу. Въ самый тоть годъ, какъ повезъ баринъ Илью въ науку, пріъхалъ зимой нежданно баринъ Вышатовъ изъ Питера съ дочкою Настасьей Павловной и туть же наказалъ строго-настрого всъмъ говорить, что пустой стоитъ дом, а его нътъ здъсь и не было. Такъ цълый годъ и таился, ни самъ ни къ кому не тадилъ, ни къ себъ не пускалъ. Ото всего хоронился. Всъ окошки позанавъщалъ, всъ двери позаколотилъ и не выходилъ во дворъ даже. И барышню никуда не допускалъ. Только выйдетъ она по саду прогуляться, а онъ высунетъ голову въ чердачокъ и кричитъ не своимъ голосомъ: — «Ой, Настенька, воротись назадъ!» Кругомъ дома высокій заборъ съ гвоздями приказалъ поставитъ, а на ворота тройные засовы съ замчищами. Даже и въ монастыръ въ са-

мые большіе праздники ни барышню не пускаль, ни самъ не вздилъ, хоть и совсвмъ рядомъ. А разбойниковъ все опасался! Въ окошки ръшетки железныя вправиль самь — не довъриль людямь. Воть разъ и прівхаль къ нему капитанъ-исправникъ по бумажному дълу, какія-то деньги платить барину требовалось. Сталъ настоятельно стучать въ ворота, а баринъ выскочилъ къ нему съ пистолетомъ, всталъ на ворота и кричитъ: — «Можете убить меня, а не отдам кровь! Доложите пославшему!» — Совсъмъ, какъ ума ръшился. Такъ и уъхалъ капитанъ-исправникъ, не похлебалъ. А баринъ Вышатовъ всю ночь на порогѣ прокараулилъ. И другую ночь все караулъ у забора несъ, а къ утру подняли его безъ памяти на крыльцѣ. Такъ и отошелъ безъ памяти. Хоронили въ монастыръ, баринъ Ляпуновъ всъ хлоноты на себя приняль и сироту утѣшаль. Потомъ тетка прівхала, хотѣла къ себѣ везти, въ городъ Пензу. А баринъ что ни день — въ Вышатово. Будто бы даже на колѣнкахъ передъ сиротой становился, въ грудь кулакомъ билъ. «Вы, говоритъ, сирота, и я сирота!» Вотъ такъ сирота! «Я, говоритъ, въ пухъ васъ буду пеленатъ-покоить!» Мундиръ свой военный вынулъ, саблю повъсилъ — прямо и не узнатъ. Ну, конечно, тетка туть за него встала. По-французски говорить принялся, всёхъ дёвокъ своих распустиль, книжки почаль возить для барышни... А она, будто, все не хотёла. Быль слухъ, что въ Питеръто къ ней самъ великій князь сватался, ну, конечно, ей какъ обидно! А покорилась. На четвертой недълъ поста папенька померъ, а къ Покрову свадьбу справили.

Видълъ Илья, что перемънился баринъ: ходилъ уже не въ халатъ, а въ бархатномъ сюртукъ фракъ

малиноваго покроя, и духами отъ него пахло. Когда надъвалъ власяницу, приказалъ всъхъ лебедей поръзать, — «это, говорилъ, — язычники только лебедями занимаются». Теперь опять бълые лебеди плавали на тихой водъ прудовъ и кричали тоскливо

въ гулкомъ паркъ.

Жилъ Илья на скотномъ дворъ, во флигелечкъ. Не призывалъ его къ себъ баринъ. Ходилъ Илья смотрътъ церковь, прикидывалъ планъ работы. Старый иконостасъ стоялъ въ ней, и смотръла она пустынно выбъленными стънами. Провърилъ Илья штукатурку — хорошо, гладко положена, ни бугорковъ, ни морщинки: только работай. Но не призывалъ баринъ. Стали посмъиваться надъ Ильей люди, говорили:

— Ишь ты, ба-ринъ! Подольстился къ барину — бока належиваеть, морду себъ нагуливаеть, марькизь вшивый! Мы туть сто потовъ спустили, а онъ

по морямъ катался, картинками занимался. Заходили къ Илъъ, оглядывали стъны.

— Картинками занимаешься. Ишь, долю себъ какую вымолиль. Въ господа, что-ль, выходишь? Просись, вольную тебъ дасть баринъ.

Говорилъ имъ Илья, затаивъ горечь:

- Обучался я тамъ, чтобы расписать для васъ церковь. Воть буду...
- Для барина. А для насъ и старой было довольно.
- Нъть, для васъ. Для васъ только и работалъ. Для васъ вернулся, говорилъ Илья съ сердцемъ. Остался бы тамъ, не слыхалъ бы обидныхъ словъ вашихъ.

Не върили ему люди.

Захаживала къ нъму старая Агафья, тетка. Со-крушалась:

— Лучше бы ты, Илюшечка, тамъ остался. А то что-жъ ты теперь — ни Богу свъчка, ни этому кочережка. Смъются на тебя и дъвки. На какое же тебъ положение выходитъ?

Молчалъ Илья. Принимался разказывать старой Агафьъ про разныя чудеса. Не върила Агафья.

Сердились на Илью дъвки: и не смотрить. Намекаль бурмистръ «Козутопъ» теткъ, что по сердцу онъ его дочкъ, выхлопочеть у барина, возьметь къ себъ въ домъ зятемъ: слыхалъ бурмистръ отъ самого барина, что теперь большія деньги можеть заработать Илья иконами.

И на это молчалъ Илья. Надъвалъ свою шляпуитальянку, ходил въ паркъ, садился на берегу, вспоминалъ прошлое. А все не призывалъ баринъ. Тогда пошелъ Илья къ барину, доложился черезъ обученнаго камердинера Стефана.

Вышелъ на крыльцо баринъ, сказалъ, что забылъ онъ про церковную работу.

— Осмотришь церковь и изобразишь планъ работы. Потомъ доложишь.

Подалъ Илья барину планъ работы. Повертълъ баринъ планъ работы, сказалъ, чтобы пустилъ Илья подъ куполомъ къ Престолу Господню впереди великомученицу Анастасію, а не первомученика Стефана, похвалилъ, что не забылъ Илья преподобному Сергію положить видное мъсто, — Сергій былъ его Ангелъ, — и сказалъ:

Теперь знай-работай.
И всталъ Илья на работу.

Прошло лѣто, ношли осенніе холода съ дождями. Задымились риги, ударили морозы, и стала промерзать церковь. Пошелъ Илья доложиться, что нѣмѣютъ пальцы, и надо топить церковь, а то портить иней живописную работу. Стали прогрѣвать церковь. Служились службы, — мало кто смотрѣлъ на обставленныя лѣсами стѣны. Часто навѣдывался Каплюга, пошелкивалъ языкомъ, хвалилъ:

— По-новому, Илья, пишешь. Красиво, а стро-

гости-то нъту.

Говорилъ Илья:

— Старое было строгое. Радовать хочу васъ, воть и пишу веселыхъ. А будеть и строгое... будеть...

Обижался и Каплюга: гордый сталъ Илья, иной

разъ даже и не отвътить.

Заходилъ и баринъ, глядълъ написанное. Говорилъ:

— Важно! Самая итальянская работа. Ты, Илья,

надъ Анастасіей особо постарайся, для барыни.

— Для всѣхъ стараюсь... — говорилъ Илья, не оборачиваясь, — въ работъ.

Строго посмотрълъ баринъ и повторилъ строго:

— Я тебъ говорю про Анастасію!

Не отвътилъ Йлья, стиснулъ зубы и еще быстръе заработалъ. Пожалъ баринъ плечами.

— Я тебъ, глухому, говорю еще разъ... про

Анастасію!

Туть швырнуль кисть Илья въ ящикъ и сказалъ:

— Я пишу . . . и пишу по своей волъ. Если моя работа не нравится, сударь, заставьте писать дру-

гого. А великомученицу Анастасію я напишу, какъ знаю!

Ръзко и твердо сказалъ Илья и твердо взглянулъ на барина. Усмъхнулся баринъ. Сказалъ поособенному:

— Научился говорить вольно?

Сказалъ Илья:

— Въ работъ своей я воленъ. Волей своей вернулся — волей и работать буду. Прикажете бросить работу?

Продолжай... — сказалъ баринъ.

И не приходилъ больше.

Другой годъ работалъ Илья безсмънно.

Пришла и прошла весна, переломилось лъто, и къ Ильину дню, Престолу, окончилъ Илья живописную работу. Пришель на крыльцо, сказаль камердинеру Стефану:

— Доложи, что работу кончиль. Велълъ сказать ему баринъ:

— Придемъ завтра — посмотримъ. Въ церковь пошелъ Илья, разобралъ подмост-

ки. всталь на самую середину и любовно оглядыль стъны. Сказала ему душа — «радуйся, Іерусалиме!» И сказала еще: «плавать бы тебъ, Илья по большому морю!»

Не было ни души въ церкви. Былъ тогда тихій вечеръ, и стрижи кружились у церкви. Сказалъ

Пант:

— Кончена работа... И стало ему грустно.

Въ цвътахъ и виноградъ, глядъли со стънъ кроткіе: Алексъй — человъкъ Божій и Убогій Лазарь. Сторожили оружіемъ — Михаилъ Архангелъ съ мечомъ, Георгій съ копьемъ, и со щитомъ Благов рный

Александръ Невскій. Водружали Кресть Въры и письмена давали слъпымъ Кириллъ и Меоодій. Вдохновенно читали Писаніе— Иванъ Златоусть, Григорій Богословъ и Василій Великій. Глядъли и звали лаской Сергій и Савва. А грозный Илья мужицкій, на высотъ, молніями гремълъ въ тучахъ. Шли подъ широкимъ куполомъ къ лучезарному Престолу Господа св. мученики, мужи и жены — многое множество, ступали по бълымъ лиліямъ, подъ золотымъ виноградомъ...

Смотрълъ Илья, и больше радовалась душа его. А надъ входомъ и по краямъ его — во всю стъ-ну — написалъ Илья Страшный Послъдній Судъ,

какъ въ полюбившейся ему церковкъ у Тибра.

Шли въ цъпяхъ сильные міра — къ Смерти, а со свътильниками-свъчами, подъ золотымъ виноградомъ, радостно грядущіе въ Жизнь Въчную.

Шли, — голы и босы, — блаженные, страстотерицы, нищіе духомъ, плакавшіе и смиренные. Шли въ разноязычной толиъ несмътной и, затерявшіеся въ верениц'в св'ятлой, в'ядомые Иль'я: и маляръ-Терёшка, и Спиридошка-поваръ, и утонувшій въ выгребной ям'в Архипка-плотникъ, и кривая Любка, и глупенькая Сафо-Сонька, и живописный мастеръ Арефій... — многое множество.

Смотрвлъ Илья, и еще больше радовалась душа его. И не было полной радости. Зналъ сокровенно онъ: иътъ живого огня, что сладостно опаляетъ и воз-

носить душу. Перебираль всю работу и не могь вспомнить, чтобы полыхало сердце.

И чъмъ дольше смотрълъ Илья — силнъй тосковала душа его: да гдъ-же сгорающая въ великомъ огнъ душа? И думаль въ подымающейся тоскъ: ужели для этого только покинуль волю?

Всю ночь безъ сна провель онъ на жесткой койкъ у себя на скотномъ, и томили его сомнънія. Говорило сердце: не для этой же работы воротился. На ранней заръ поднялся Илья и пошелъ въ церковь. Бълый туманъ курился въ низинахъ, по Проточку. Сълъ Илья на старый могильный камень, положиль голову на руки и сталъ думать: ну, теперь кончена положенная отъ барина работа... для барина и работалъ...

И воть, какъ давно, въ яблочномъ монастырскомъ саду, въ охватившей его дремотъ, сверкнуло передъ нимъ яркой до боли пъной или кипящей водой на мельницъ. Мигь одинъ вскинулъ Илья глазами — и въ страхъ и радости несказанной узналъ глянувшіе въ него глаза. Были они въ полънеба, свътлые, какъ лучи зари, радостно опаляющіе душу. Такихъ ни у кого не бываеть. На мигь блеснули они тихой зарницей и погасли.

Въ трепетъ поднялся Илья, смотрълъ сквозь слезы въ розовъющее надъ туманомъ небо, — въ потерянную радость:

— Господи... Твою красоту видълъ...
Понялъ тогда Илья: все, что вливалось въ его глаза и душу, что обрадовало его во дни жизни — вотъ красота Господня. Чуялъ Илья «все, чего и не видали глаза его, но что есть и во-въки будеть, — воть красота Господня. Въ прозрачномъ и чуткомъ снъ, — видъль онъ, — перекинулась радуга во все небо. Плыли въ эти небесныя ворота корабли подъ красными парусами, шумъли морскія бури, мерцали негасимыя лампады-звъзды; сверкали снъга на неприступныхъ горахъ; золотые кресты свътились надъ лъсными вершинами; грозы гремъли, и наплывали изъ ушедшихъ далей звуки величественнаго хорала;

и бълыя лиліи въ далекихъ садахъ, и тихіе яблочные сады, облитые солнцемъ, и радость св. Цециліи,

покинутой за морями...

Въ этоть блеснувшій мигь поняль Илья трепетнымъ сердцемъ, какъ неистощимо богать онъ и какую имъеть силу. Почуялъ сердцемъ, что придеть, должно придти то, что радостно опаляеть душу.

ΧI

Выше подымалось солнце. Тогда пошелъ Илья и надълъ чистую рубаху, — показывать господамъ работу. Пришелъ въ церковь, и показалось ему, что сегодня праздникъ. Вышелъ на погостъ у церкви, увидалъ синій цикорій на могилъ и посадилъ въ петлицу. Вспомнилъ, какъ сдавалъ на виллахъ свою работу.

Въ самый полдень пришли господа осмотръть

церковь.

Въ бъломъ платъъ была новая госпожа, — въ первый разъ видълъ ее Илья такъ близко. Юной и чистой, отроковицей показалась она ему. Бълой невъстой стояла она посреди церкви, съ полевыми цвътами. Радостный и смущенный смотрълъ Илья на ея маленькія ножки въ бълыхъ туфляхъ: привыкъ видъть только святые лики. Смотрълъ на нее Илья и слышалъ, какъ бъется сердце.

Спросила она его, освътивъ глазами:

— A кто это?

Сказалъ Илья, оглядывая куполъ:

— Великомученица Анастасія Рымляныня, именуемая Прекрасная, показана въ великомъ кругу мученій.

Она сказала:

— Это мой Ангелъ...

И онъ ее вдругь увидълъ.

Увидълъ всю нъжную красоту ея — радостные глаза-звъзды, несбыточные, которыхъ ни у кого нътъ, кроткія черты дъвственнаго лица, напомнившія ему его св. Цецилію, совсъмъ розовый роть, дътски полуоткрытый, и милое платье, падающее прямыми складками. Онъ стоялъ, какъ въ очарованіи, не сдышалъ, какъ спрашиваетъ баринъ:

— А почему передъ Первоучителями всъ слъпые?

Не Илья, а она сказала:

Въдь, они совсъмъ темные... они еще ничего не знають.

Спросилъ баринъ:

— A почему у тебя, Илья, въ рай идуть больше убогie?

 — А, въдь, правда! — сказала она и освътила глазами.

Показалось Ильѣ, что она смотрить ласково, будто сама сказать хочеть. Тогда прошло онѣмѣніе, будто путы спали съ Ильи, и сказалъ онъ вольно:

— По св. Писанію такъ: «легче верблюду пройти»... и «блаженни нищіе духомъ»... Такъ трактовали: Карпаччіо...

Но перебилъ баринъ:

— Знаю!

А она сказала, опять сіяя:

— Мить это нравится... и нравится вся работа.

Какъ тихіе голоса въ органъ, быль ея голосъ, какъ самая нъжная музыка, которую когда-либо слышалъ Илья, были ея слова. Онъ, словно подня-

тый отъ земли, смотрѣлъ на это неземное лицо, лицо еще никъмъ не написанной Мадонны, на ея неопредълимые глаза, льющіе радостное, казалось ему, сіяніе. Онъ не могъ теперь отвести взгляда, все забывъ, не слыша, что баринъ уже другой разъ спрашиваетъ:

— A почему у Ильи Пророка одежда, какъ у послъдняго нищаго?

Сказаль Илья на крикливый голось:

— Пророки не собирали себѣ сокровища на землѣ. Сказано въ книгѣ пророка...

И опять перебиль баринь:

— Знаю!

— Все здъсь говорить сердцу... — сказала она и освътила глазами. — Васъ благодарить надо.

Поклонился Илья стыдливо: были ея слова великой ему наградой. Сказаль баринь:

— Да, спасибо, Илья. Оправдаль ты мое до-

въріе.

И ушли. Стоялъ Илья какъ во снъ, затихъзатаился. Смотрълъ на то мъсто, гдъ стояла
она, вся свътлая. Увидалъ на полу полевую гвоздичку, которую она держала въ рукъ, и поднялъ радостно. И весь день ходилъ, какъ во снъ, не здъшній: о ней думалъ, о госпожъ своей свътлой. Весь
этотъ будто праздничный день не находилъ себъ мъста. Выходилъ на крылечко, смотрълъ вдоль аллеи
парка.

Зашелъ Каплюга:

— Ты чего, Илья, нонче такой веселый? Похвалили твою работу?

— Да, — сказаль Илья, — похвалили.

— Вольную должны дать теб'в за такой подвигь... — сказалъ Каплюга.

Не слыхаль Илья: думаль о госпож в свътлой. А вечеромъ прищелъ на скотный дворъ камердинеръ и потребовалъ къ барину:

— Велълъ баринъ въ покои, безъ докладу. Въ сладкомъ трепетъ шелъ Илья: боялся и радовался ее увидъть. Но баринъ сидълъ одинъ, перекладываль на стол'в карты. Сказаль баринь:

— Воть что, Илья. Желаеть барыня икону своего Ангеля, великамученицы Анастасіи. Ужъ поста-

райся.

— Постараюсь! — сказаль Илья, счастливый. Пошель не къ себъ, а бродилъ до глубокой ночи у тихихъ прудовъ, смотрълъ на падающія звъзды и думаль объ Анастасіи. Крадучись подходилъ къ барскому дому, смотрълъ на черныя окна. Окрикнуль его Дёма-караульщикь:

— Чего, марькизь, ходишь? Ай украсть чего хо-

чешь?

Не было обидно Ильъ. Взялъ онъ за плечи горбатаго Дёму потрясъ братски и посм'ялся, вспомнилъ:

— Дёма ты Дёма — не всѣ у тебя дома, на спинъ хорома!

Постучаль колотушкой, отдаль и поцъловаль Дёму въ беззубый роть.

— Не серчай, Дёма-братикь!

И пошелъ паркомъ, не зная, что съ собой дълать. Опять къ прудамъ вышелъ, спугнулъ лебедей у каменнаго причала: спали они, завернувъ шеи. Поглядъль, какъ размахнулись они въ ночную воду. Ходиль и ходиль по росъ, отыскиваль въ опаленномъ сердцъ желанный образъ великомученицы Анастасій.

И нашель къ утру.

Недълю горъла душа Ильи, когда писалъ онъ образъ великомученицы Анастасіи. Не уставно писалъ, а далъ ей бълую лилію въ ручку, какъ у св. Цециліи въ Миланскомъ соборъ.

Смотръла Анастасія, какъ живая. Даль ей Илья глаза далекаго моря и снъжный блескъ бълому покрову — дъвство. Радостно Ильъ было: всъ дни

смотръла она на него кротко.

Зашли господа посмотръть работу. Удивился баринъ, что готова. Не смъя взглянуть, подалъ Илья своей госпожъ икону.

— Какъ чудесно! — сказала она и по-дътски

сложила руки. — Это чудо!

Вбиралъ Илья въ свою душу небывающіе глазазв'язды.

Сказалъ баринъ:

— Теперь вижу: ты, Илья, — мастеръ заправскій. Говори, что тебъ дать въ награду?

Увидалъ Илья, какъ она на него смотритъ, и сказалъ:

— Больше ничего не надо.

Не понялъ баринъ, спросилъ:

— Не было отъ меня тебъ никакой награды... а ты говоришь, чудакъ, — больше не надо!

Смотрълъ Илья на госпожу свою, на ея блъдныя маленькія руки. Всъ жилки принялъ въ себя, всъ блъдно-розовые ноготки на пальцахъ. И темныя, бархатныя брови принялъ, темныя радуги надъ бездоннымъ моремъ, и синія звъзды, которыя не встръчалъ ни на одной картинъ по галлереямъ. Вливалъ въ себя неземное, чего никогда не бывасть въ жизни.

— Вы зд'всь и живете? — спросила она глазами.

Поняль Илья глаза. Сказаль:

— Да. Здъсь хорошо работать.

Удивился на него баринъ: чего это отвъчаеть. А она оглядывала почернъвшія стыны, съ вылъзавшей паклей, и повъшенныя работы.

Увидала цвъточницу, маленькую Люческу...

Спросила:

— А кто эта? Какая милая дъвушка.

Вспыхнулъ Илья подъ ея взглядомъ. Сказалъ смущенно:

— Такъ... цвъты продавала у собора...

Посмъялся баринъ:

— Тихоня, а ... тоже!

Толкнуло Илью въ сердце. Не помня себя, рванулъ онъ холстикъ и подалъ:

— Нравится вамъ... возьмите, барыня...

Въ первый разъ назваль ее такъ; потомъ, когда вспоминалъ это, краснълъ-думалъ: не для нея это слово: для нея — обида.

Она посмотрѣла, будто залила свѣтомъ:

- Оставьте у себя. Мнъ не надо.

Всѣ краски и всѣ листы пересмотрѣла она. Увидала мученика, прекраснаго юношу Себастіана въстрѣлахъ — смотрѣла, будто молилась. И Илья молился — пресвѣтлому, открывшемуся въ ней Лику. Говорила она — пѣніе слышалъ онъ. Обращала кънему глаза — сладостная мука томила душу Ильй.

Упіла она, и осталась мука сильнѣе смерти. Упалъ Илья на колючій войлокъ, жесткое свое ложе, сдавилъ зубы и облился слезами. Говорилъ въстонахъ:

— Господи... на великую муку послано мнѣ испытаніе! Знаю, не увижу покоя. И нѣть, у меня жизни...

Такъ пролежалъ до вечера въ сладкой мукъ. А къ вечеру пришли отъ двора двое — Лукавый и казачокъ. Спирька-Быстрый и принесли деревянную кровать на кривыхъ ножкахъ, два стула, тюфякъ изъ морской травы и пузатую этажерку. Сказалъ Спирька:

— Такъ, Илья Терентьичъ, сама барыня при-

А Лукавый-Лука прибавиль:

— У него, говорить, не комната, а канура собачья! Плыветь тебъ счастье, Илья. Маслена коту настала. До мяконькова добрался. Понъжишься — гляди, и подушку вылежишь съ одъяломъ.

Потыкали пальцами въ картинки, посмъялись

надъ бариномъ:

 Псалтыремъ ты его зачиталъ, Илья, — образами накроешь.

Не сказаль имъ Илья ни одного слова. Остался стоять, закрылъ руками лицо, повторяль мыслями:

— Сама... барыня... приказала...

Смотрълъ в темноту ночи и видълъ ее, свътлую госпожу свою. Мънялось ея лицо, и смотръла изъ темноты великомученица, прекрасная Анастасія. И она мънялась, и свътились несбыточные глаза — два солнца. Въ сладкой радости и мукъ упалъ Илья на колъни, припалъ губами къ старому полу, гдъ она стояла, и цъловалъ доски. Всю ночь метался Илья по своей каморкъ, выходилъ на крыльцо, стушалъ, какъ стрекочутъ кругомъ кузнечики въ деревьяхъ, какъ оставшіяся за морями цикады. Спрашивалъ темноту-тоску:

— Что же?!

— Что же?!

Стало свътать. Взглянуль Илья на присланную кровать — не легь. Жутко было ложиться на посланное ею, будто совершишь святотатство. Легь на войлокь и заснуль кръпко. Проснулся — только-только подымалось за прудами солнце. Пошель на плотину, прошель дальше, къ Проточку. Пошель дальше, по монастырской дорогъ. Лъсомъ шель, пъль. Охватывала его радостно тишь лъсная. Отозвалось въ свътломъ утръ, въ чвоканьи и посвистъ красногузыхъ дятловъ и въ гулкомъ эхъ разгульное. И запъль Илья гулевую-лъсовую пъсню:

Одную и выожний не беретъ! Вьюжина да метелюга не мететъ!

Радость неудержимая закружила Илью. Биль онъ палкой по гулкимъ соснамъ и пълъ. И по сторонамъ отзывалось гулко и далеко:

Ай, выога-метелюга, заметай!...

Кончился лѣсь — и увидаль Илья бѣлый монастырь надъ Нырлей, съ золочеными главами-рѣнами. Сталъ Илья на бугрѣ и смогрѣлъ жаднымъ, берущимъ взглядомъ. На бѣлый простѣнъ собора смогрѣлъ — на полдень. Свистнулъ и пошелъ въмонастырь. Сказалъ казначеѣ:

— Хочу расписать вамъ стъну на полдень — Георгія со Змъемъ. Хлопочите у барина, а я хоть

завтра.

Обрадовалась казначея: знала, какъ благолъп-но Илья расписалъ церковь въ Ляпуновъ

А черезъ мъсяцъ младой Георгій на бъломъ конть побъдно разилъ поганаго Змъя въ бронъ, съ головой какъ бы человъка. Дивно прекрасенъ былъ

юный Георгій — не мужескаго и не женскаго лика, — а какъ Ангель въ образъ человъка, съ блъднымъ лицомъ и синими глазами-звъздами. Такъ былъ прекрасенъ, что нослушницы нодолгу простаивали у той стъны и стали видътъ во снъ... И ношло молвой по округъ, что на монастырской стънъ — живой Георгій и даже движеть глазами.

XIII

Опять не стало у Илья работы.

Словно что потерявшій, ходиль онь по аллеямь парка въ своей итальянской шляпъ. Смотръль на небо, на осыпающіеся листья. Сквозило въ паркъ, и яснъй забълъль теперь длинный господскій домь, гдъ по вечерамь играли на фортопьянахъ. Обходиль Илья главную аллею.

Въ красномъ закатъ плыли величавые лебеди — розово-золотые въ солнцъ. Отзывался пустынный

ихъ крикъ въ паркъ.

Лебедей рисоваль Илья и осенній островь, и всегда пустую липовую аллею съ желтыми ворохами листьевъ. Каменныя плотины писалъ Илья — вверху и внизу, съ черными жерлами истоковъ. Все было обвъяно печалью.

Съ тоской думалъ Илья: воть и зима идеть, снъгомъ завалитъ, и пойдутъ долгія ночи. Воть ужъ и птицъ не стало, летятъ гуси за солнцемъ. Слушалъ, какъ посвистываютъ осеннички-синицы.

Ръдко выпадало счастье, когда въ барскомъ до-

мъ играли на фортоньянахъ.

Слышаль Илья — опять заскучаль баринъ. Говорили, будто вздить началь на хуторь, гдв жили «на полотнянкв» дввки. И не вврилъ.

Сидълъ разъ Илья у каменнаго причала, зарисовываль отъ нечего дълать: нарисовалъ мосточки и одинокую лодку: о своей судьбъ думалъ. А что же дальше? И стало ему до боли тоскливо, что не остался у Терминелли. Старые камни вспомнилъ, бълыя дороги, веселыя лица, соборы, радостныя пъсни и тихую маленькую Люческу съ цвътами. Подумалъ: тамъ бы и жилъ, и работалъ. И Панфила съ ящиками вспомнилъ, какъ ъли баранину и сидъли у моря, свъсивъ ноги. «Выправилъ бы себъ настоящій турецкій пачпорть!» Въ тоскъ думалъ Илья: расписалъ имъ церковь, а никому и не нужно. Върно, что и старюй было довольно. Да, върно: ни Богу свъчка, ни этому кочережка!

Навалилась тоска, и въ этой тоскъ нашелъ Илья

выходъ: просить барина назначить откупъ.

Туть Илья услыхаль шелесть и оглянулся. На широкой аллев къ дому стояла *она* бълымъ видъніемъ, въ косомъ солнцѣ, держала за ошейникъ любимую бълую борзую. Всталъ Илья и поклонился.

Она сказала:

— Здравствуйте, Илья...

Голосъ ея показался Илъъ печальнымъ. Онъ стоялъ, не зная, что ему дълать — пойти или такъ остаться. И она стояла на желтыхъ листьяхъ, поглаживала борзую. Съ минуту такъ постояли они оба, не разъ встръчаясь глазами. Какъ на солнце смотрълъ Илъя, какъ на красоту, сошедшую съ неба, смотрълъ, затаивъ дыханье.

— Вы скучаете, милый Илья... Теперь у васъ

нъть работи?...

— Да, у меня нъть работи... — сказалъ Илья, перебирая поля шляпы.

Тогда она подошла ближе и сказала тихо:

— Я понимаю, Илья... Вы должны получить волю.

Вскинулъ глаза Илья, обнялъ ее глазами и сказалъ съ болью:

- Зачты мить воля!

Взглянулъ на нее Илья, — одинъ мигъ, — и сказалъ этотъ взглядъ его больше, чъмъ скажетъ слово. Долгимъ, глубокимъ взглядомъ сказала она ему, и увидалъ онъ въ немъ и смущеніе, и сожалъніе, и еще что-то... Радость? Словно она въ первый разъ узнала и поняла его, юношески прекраснаго, съ нъжно ласкающими глазами, которые влекли къ нему дъвушекъ за морями. Смъло, какъ никогда раньше, посмотрълъ на нее Илья захогъвшими житъ глазами.

Мигъ одинъ смотрълъ Илья на нее и опустилъ глаза, и она только мигъ сказала, что знаетъ это. Опятъ услыхалъ Илья шелестъ листьевъ, увидалъ, какъ мягко играетъ бълое ея платье, и маленькая рука тянетъ ошейникъ порывающейся борзой. Смотрълъ — и въ движеніи ея видълъ, что она о немъ думаетъ. Смотрълъ вслъдъ ей, пока не повернула она въ крестовую аллею. Думалъ: оглянется? если бы оглянулась!

Не оглянулась она.

XIV

На Рождество Богородицы пошелъ въ монастырь Илья, какъ ходилъ въ прежнее время. Всегда была ему отъ монастыря радость. Пошелъ бариномъ: надълъ сърыя брюки въ клътку, жилетъ изъ голубого манчестера и сюртукъ табачнаго цвъта съ бархатными бочками. Остановился на плотинъ, увидалъ

себя въ свътлой водъ и усмъхнулся, — вотъ онъ, маркизъ-то!

Раскинулась подъ монастыремъ знакомая ярмарка. Подмонастырная луговина и торговая площадь села Рождествина зачернъла народомъ. Торговали по балаганамъ наъзжіе торгаши китайкой и кумачемъ, цвътастыми платками и кушаками, бусами и всякимъ теплымъ и сапожнымъ товаромъ. Медомъ, инбиремъ и мятой пахло сладко оть былыхъ ящиковъ со сладкимъ товаромъ: всякими пряниками — пътухами и рыбками, сухимъ черносливомъ, изюмомъ и шепталой кавказской, яблочной пастилой и оръховымъ жмыхомъ. Селомъ стояли воза съ желтой и синей ръпой мытой и алой морковью, съ лъснымъ новымъ оръхомъ и вымолоченнымъ горохомъ. Наклали мужики лъсовые бъдыя горы саней и корыть, капустныхъ и огуречныхъ кадокъ, лопать, грабель, боронъ и веселаго свъжаго щепного товару. Подъ бълыя стъны подобрались яблошники съ возами вощеной желтой антоновки и яркаго аниса, съ барскихъ садовъ. Къ кабакамъ и трактирамъ понавели на коновязи, къ навозу, лошадей съ заводовъ, и бродячій цыганскій таборъ стучаль по мъднымъ тазамъ и сверкалъ глазами и серебромъ въ пестрой рвани.

Ходилъ и смотрълъ Илья, вспоминалъ, какъ бывало въ дътствъ. И теперь то же было. Яркой фольгой и лакомъ ръзалъ глазъ торговый «святой» товаръ изъ-подъ Холуя, рядками смотръли все одинаковые: Миколы, Казанскія, Рождества, — самые

ходовые бога.

Съ улыбкой глядълъ Илья на строгіе лики, одътые розовыми въночками, и вспоминалъ радостнаго Арефія. Купилъ синей и желтой ръпы, вспом-

ниль, какъ обдираль зубами; не приходила былая радость. Купилъ «кузнецовъ» любимыхъ — мужика сь медвёдемъ, пощелкаль и подариль жадно глядъвшему на него ротастому мальчишкъ. Былъ и за крестнымъ ходомъ, смотрълъ, какъ пролъзали подъ чтимую икону старики, бабы и довушки, валились на грязь съ ребятами, давили пальцы. Смотрълъ на взывающія деревянныя и натуженныя лица и вздрагивающія губы. Слушаль тяжкіе вздохи, стоны и выкрики, ругань и пугающіе голоса: — «батюшки, задавили!» Видель «пьяный долокь», подъ монастырской ствной, куда, для порядка, дотаскивали упившихся и укладывали въ лопухи. Все тотъ же лысый давній старикъ сидълъ на пенькъ, съ багровой шишкой у глаза, — стерегь-оберегаль пьяниць и получаль грошики. Видёль Илья у монастырскихь вороть, подъ завъшанными, всегда урожайными рябинами — городокъ божій: сидъла рядами всякая калъчь, гнусила, ныла, показывала свои язвы и изъя-ны и жалобила богомольныхъ. Узналъ Илья Петьку Паршиваго, съ вывернутыми кровяными въками, и Гусака, который испугаль его въ дътствъ: не говорилъ Гусакъ, а шипълъ, вытягивая длинную, в руку, шею. Съ болью и отвращениемъ проходилъ Илья мимо «божьяго городка», а ему вслъдъ тянули: «баа-ринъ. милостинку подай, ба-а-ринъ»...

Бариномъ называли Илью торговцы, а знакомые мужики съ завистью и усмъшкой говорили:

— Марькизю почеть! Можеть, лошадку купить желательно?

Отанавливали Илью гулящія д'явки въ яркихъ сарафанахъ, съ платочками, запавшими на затылокъ, — смъялись:

— Илюша-милоша... румяный мальчикь, пой-

демъ въ сарайчикъ!

Хмельныя онъ были, казенныя и барскія солдатки съ большого тракта, ходили цвътастой гулевой стайкой, наяривали за взжихъ. Бъгали за ними подростки, подергивали за накрахмаленные сарафаны и дразнились. Отплевывались отъ нихъ бабы, а мужики хмуро сторонились. Помнилъ Илья двухъ изъ нихъ — Лизутку Мачихину, съ казеннаго села Мытки, и Ясную Пашу.

А теперь были новыя, и всв приставали къ нему и называли Илюшей. Полыхало отъ нихъ на Илью соблазномъ.

И про нихъ думалъ Илья — несчастныя. И про калъчь, и про «пьяный долокъ». Не облегчила ему тоски ярмарка. Отошель Илья на бугорокъ, повыше, гдъ сворачивають отъ лъсу, и смотрълъ на луговину и навозную площадь, по которой все еще носили почитаемую икону. Вспомнилось ему, какъ за морями носили на палкахъ бълыя статуи, шли чинно монахи, опоясанные веревками, и выпускались-взлетали облые голуби... И пожалбль, зачвмъ не остался тамъ: тамъ свътлъе.

Подошла къ нему старая грязная цыганкавъльма. Запъла:

— Сушить тебя любовь, красавчик-корольчикъ. Дай, счастливъ, на ручку, — скажу правду. Далъ ей Илья пятакъ, чтобы отвязалась. Ска-

зала пыганка:

— Краля твоя тоскуетъ, милаго во сий цёлуеть. Дълать тебъ нечева, погоди до вечера.

И пошла, позванивая полтинками.

Собирался Илья итти домой, на свою скуку. Уже поднялся — услыхалъ за собой на мосточкъ топотъ и визгливый окрикъ на лошадей мальчикафорейтора: вскачь пронеслась сыпучими песками господская синяя коляска. Узналъ Илья, и захолонуло сердце: въ голубой шляпкъ съ лентами, съ букетомъ осеннихъ цвътовъ — георгинъ, бархатцевъ и душистаго, горошка, одна сидъла въ ней его молодая госпожа: везла цвъты для иконы. Слъдилъ Илья за голубымъ пятнышкомъ между бълыми ворохами саней и телътъ съ ръпой, пока не проъхала коляска монастырскія ворота. Какъ разъ и ударили къ поздней объднъ и понесли съ площади икону.

Три часа просидълъ Илья на мосточкъ, у дороги. Пестръла передъ глазами ярмарка кумачомъ чернотой и свъжими ворохами на солнцъ, а голубое пятнышко не пропадало — осталось въ глазахъ, какъ кусочекъ открывшагося неба. «Свътлая моя, — говорилъ Илья къ монастырскимъ стънамъ, — радостная моя!» Словами, которыя только зналъ, называлъ ее, какъ безумный, кромъ нея уже ничего не видя. Сладкимъ ядомъ поилъ себя, вызывая ея глаза, пилъ изъ нихъ свътлую ея душу и опъянялся. До слезъ, до боли вызывалъ ее въ мысляхъ и цъловалъ втайнъ. Три часа, томясь сладко, прождалъ Илья у дороги.

И воть, когда увидаль, что вывхала изъ монастырскихъ воротъ синяя коляска, съ краснорукавнымъ кучеромъ Якимомъ и радостнымъ голубымъ пятныпікомъ, сошелъ съ дороги и схоронился въ кусты орбшника на опушкъ. Черезъ просвътикъ жадно слъдилъ, какъ вползала коляска по сыпучему косотору, какъ полулежала на подушкахъ его молодая госпожа, глядъла въ небо. Жадно глядълъ Илья на нее, безцънную свою радость, и лобызалъ глазами. Тихо проползала коляска песками, совсъмъ близко.

Даже темную родинку видълъ Илья на шев, даже даже темную родинку видълъ илъя на шев, даже полуопущенныя выгнутыя ръсницы, даже подымающіяся отъ дыханія на груди ленты и дътскія губки. Какъ божество провожалъ Илья взглядомъ поскрипывающую по песку синюю коляску, терявшуюся въсоснахъ. Вышелъ на дорогу, смотрълъ на осыпающійся слъдъ на пескъ и слушалъ, какъ потукиваютъ на корняхъ колеса.

XV

Спать собирался Илья ложиться, нечего было дёлать — ночь темная. Пошель дождь, зашумёло лёсомь. Туть постучали въ окошко: пришелъ Спирька-Быстрый, сказаль, что требуеть къ себъ баринъ. Всколыхнуло Илью — обрадовало и испугало. Сидёли господа въ спальной, у камина грёлись. Полыхала Львиная Пасть-морда сосновыми дровами. Краснымъ огнемъ полыхали стёны, и розовая была широкая пышная постель подъ атласнымъ покровомъ. Пушистый красный коверъ увидёлъ Илья, букетами, старинный, самый тоть, что былъ при цыганкъ. Остановился у дверей, въ корридоръ, постёснялся войти. Но баринъ позвалъ его изъ корридора: — Только оботри ноги! Вошелъ Илья и остановился у лвери. Баринъ

— Только оботри ноги!
Вошелъ Илья и остановился у двери. Баринъ сидълъ въ глубокомъ кожаномъ креслъ и похрустъвалъ облою кочерыжкой: лежали онъ грудкой на тарелкъ. А госпожа лежала на покатомъ бархатномъ креслъ и гръла ноги. Красныя, золотомъ вышитыя пілёпанки-туфли сперва увидалъ Илья въ яркомъ свътъ, на стеганой подставкъ. Потомъ увидалъ тонкіе розовые чулочки и обло-золотистый, словно изъ парчи, халатикъ въ лентахъ; потомъ розовыя тонкія

руки въ колъняхъ, пышныя косы, кинутыя на грудь, и лицо. Устало смотръла она въ огонь — дремала. Сонъ прекрасный видълъ Илья, сказочную царевну.

Молча поклонился Илья къ камину. Сказалъ

баринъ:

— Воть что, Илья... Слышаль я, что думаешь откупаться?...

Хотълъ было Илъя сказать, но баринъ показаль

пальцемъ — слушай.

— Самъ понимаю, что тебъ трудно. Какая у меня тебъ работа? И потомъ, барыня за тебя просила...

Молча, чтобы не дрожалъ голосъ, поклонился Илья, почувствовалъ, какъ накипаютъ слезы. Неотрывно смотрѣлъ на тихое блѣдно-розовѣющее лицо, какъ у спящей. И вотъ, дрогнули темныя рѣсницы и поднялисъ. Новые глаза, темные отъ огня, взглянули на Илью, коснулисъ его нѣжно и опятъ закрылисъ.

— Волную ты получишь. Видѣла барыня сегодня въ монастырѣ твою работу, Георгія-Побѣдоносца... Понравилось ей. Говорить, лицо необыкновенное...

Неотрывно смогрѣль Илья на свѣтлую госпожу свою. Все такъ же она лежала, и отъ полыхающаго огня словно вздрагивали ея рѣсницы. А какъ сказалъ баринъ, что лицо необыкновенное, опять увидалъ Илья: поднялись рѣсницы, и она смогритъ. Радостно-благодарящій былъ этотъ взглядъ, ласкающій и теплый. Похолодѣлъ и замеръ Илья и опустилъ глаза на огонь.

А она сказала:

— Вы, Илья, удивительно пишете. И воть у меня къ вамъ просба...

Вздрогнулъ Илья отъ ея голоса, но сказалъ ба

ринъ:

— Просьба не просьба а... постарайся напослѣдокъ. Барыня желаеть, чтобы написаль ты ея портреть. Можешь?

Сразу не могь отвътить Илья, но собраль силы

и сказаль чуть слышно:

Постараюсь...

Самъ слышалъ, — будто не его голосъ. Посмотрълъ баринъ на Илью:

— Такъ вотъ. Можешь?

И она сказала:

— Видите, Илья... я хочу, чтобы.

Но ее перебиль баринъ:

— Такъ вотъ. Можешь?

Въ жаръ кинуло Илью, что перебиль баринъ. Стояло въ комантъ живое, ея, слово: «я хочу, чтобы...» Чего она хотъла?!

И сказаль Илья твердо:

— Могу.

И посмотрълъ на нее свободно, какъ недавно въ паркъ. Упали путы съ души, и почувствовалъ онъ себя вольнымъ и сильнымъ. Спросилъ смъло:

— Завтра начать можно?

Поръшили на завтра. Сказаль Илья:

— Буду писать въ банкетной, на полномъ свътъ.

Взглянуль на нее и еще смълъе сказаль:

— У госпожи блъдное лицо. Для жизни лица лучше темное одъяніе, черное или морского тона . . .

Ея лицо освътилось, и она сказала:

— Я такъ и хотъла.

И удивился Илья — въ мигъ она стала совсъмъ другая, еще прекраснъй.

Нашель Илья силу принять великое испытаніе. Шель подъ дождемъ на скотный, несь ея свётлый взглядь и повторяль в дрожи, ломая пальцы:

— Напишу тебя, небывшая никогда! И будешь!

XVI

Съ того часу начались для Ильи сладостныя мученія, свътло опаляющія душу.

Всю ночь не смыкаль онъ глазь. Въ трепеть и томленіи ходиль онъ въ тъсной своей клътушкъ, и то становился къ углу передъ иконкой, старой, черной, безъ лика, послъ отца оставшейся, и сжималь руки; то смотръль въ темныя стъны, отыскивая чтото далекое, чему и имени не было, но что было; то торопливо промывалъ кисти, готовилъ краски и отчищалъ палитру. Вынулъ надежный холстъ, ватиканскій, върный, и закръпилъ на подрамникъ. И то обнималъ его страхъ темный, то радость безмърная замирала въ сердцъ.

Только передъ разсвътомъ забылся онъ въ чуткомъ снъ и вскочилъ на постукиванье въ окошко. Но не было никого за окошкомъ: дождь стучался. Сердито глядълъ Илья въ небо — тучи-тучи. Но къ утру подуло вътромъ, и сплыли тучи. Пошелъ Илья

въ домъ при солнцъ.

Блъдный, съ горячими глазами, дрожащими руками готовился Илья къ работъ въ банкетной залъ. Боялся ее увидъть. Но напрасна была его тревога. Вышла молодая госпожа и сказала привътно:

— Здравствуйте, милый Илья. Что съ вами? Не

больны вы?...

Поклонился Илья, сказаль невнятно и началь свою работу. Взглядомъ однимъ окинулъ милое чер-

ное платье, стыдливыя худенькія плечи и будто утончившееся со вчерашняго дня лицо съ тѣнями. Новое сіяніе глазь увидаль Илья, какъ сіяніе моря въ вѣтрѣ, — сіяніе тихой грусти. Подумалъ: другіе глаза стали. И стали они другіе, когда сталь бросать углемъ, — мѣнялись: радостные они были. Она спросила:

— Надо сидъть покойно?

Но не слыхалъ Илъя словъ, — и она спросила еще. Онъ отвътилъ:

— Нътъ, пожалуйста, говорите...

Дрожалъ его голосъ и рука съ углемъ. Теперь онъ неотрывно глядълъ въ лицо ея, вырванное изъ жизни и отданное ему — ему только. Теперь онъ нилъ неустанно изъ мѣнявшихся глазъ, первыхъ глазъ, которые такъ сіяли. Тысячи глазъ видѣлъ онъ на полотнахъ по галлереямъ, любовно взятыхъ у жизни, но такихъ не было ни у одной Мадонны. Необъятность видѣлъ Илья въ темнѣющей глубинѣ ихъ. — необъятность святого свѣта. Не могь онъ назвать, что видѣлъ. Радость? Но и печаль, свѣтлую грустъ въ нихъ чуялъ Илья, и была эта грустъ прекрасна. Небывающую красоту, все, что должно бы бътъ и освѣтить жизнъ и чего не было въ жизни, — видѣлъ Илья.

Пришелъ баринъ, сказалъ: довольно, пора объдать.

День за днемъ потянулась эта радостно опаляющая душу пытка. Не жиль эти дни Илья, не прикасался къ пищъ, и только кусокъ хлъба и кружка воды поддерживали его силы. Она приходила къ нему въ короткомъ тревожномъ снъ, мъняющаяся: то въ пурпуръ Великомученицы Варвары, то въ свътлой одеждъ св. Цецили, то въ одъяни рубенсовой Ма-

донны. Приникала къ нему во снъ полуобнаженная, въ пышныхъ тканяхъ прекрасной венеціанки, то манила его въ аллеяхъ, то лежала раскинутой на гръховномъ ложъ. Въ сладострастной истомъ пилъ Илья ея любовь по ночамъ — безплотную, и приходилъ къ ней, не смъя взглянутъ на чистую.

Спрашивала она съ тревогой:

— Милый Илья, что съ вами? Вы устали? Говорилъ Илья съ болью — за ея тревогу:

— Я здоровъ, что вы...

Онъ уже не смогрѣпъ на мѣнявшееся лицо ея. Зналъ его, новое и ея, созданное ночами.

Спрашивала она — онъ вздрагиваль отъ ея голоса. Говорилъ и не помнилъ. Отвъчалъ и не понималъ.

Но бывали минуты, когда онъ складываль передъ нею руки и смотрълъ, забывая все. Бывали еще мгновенія, когда обнималь онъ ее всю взглядомъ, прорвавшеюся въ глаза страстью. Она отводила взглядъ, прятала шею и собирала плечи. Онъ приходиль въ себя и бросалъ работу.

Ночью безумствовалъ Илья въ своей клътушкъ. Онъ молитвенно складывалъ руки передъ ея — новымъ — ликомъ, падалъ передъ нимъ на колъни и ласкалъ словами. А только вливалось утро — вкладывалъ новое, озарившее его ночью.

Былъ это ликъ нездъшній. Не холсть взяль Илья, а, озаренный опаляющей душу силой, взяль заготовленную для церковной работы доску. Иной смотръла она, радость неиспиваемая, претворенная его мукой. Защитой свътлой явилась она ему, оплотомь отъ покорявшей его плотской силы. Дъвственно-чистой рождалась она въ ночахъ — святая.

Все, что когда-то узналъ Илья: радости и страданія, земля и небо и что на нихъ; жизнь въ потемкахъ и та, далекая, за морями; все, что вливалось въ душу. — творило въ Ильъ этоть второй образъ.

Силой, что дали Иль зарницы Бога, небывающіе глаза — въ-полнеба; озаряющія зарницы, что открылись ему въ тиши разсвъта и радостно опалили душу: силой этой творился ея неземной образъ. Небо, земля и море, тоска ночная и боли жизни, все, чъмъ жилъ онъ, — все влилъ Илья въ этотъ чудесный образъ. Стояло въ глазахъ — и не могло излиться. Огромное было въ глазахъ, какъ безмърна жизнь даже незамътнаго человъка.

Двъ ихъ было: въ черномъ платъъ, съ *ея* лицомъ и радостно плещущими глазами, трепетная и желанная, — и другая, которая умереть не можеть.

И воть, на двадцатый день кончиль Илья рабо-

ту. Сказаль госпожъ своей:

— Вотъ, кончена моя работа...

И ему стало больно.

А она, радостная, сложила по-дътски руки, смотръла и говорила:

— Какая прекрасная... я ли это?!

Не было барина — увхалъ на охоту. Илья сталь собирать кисти.

Она сказала:

— Илья... это вы сдѣлали *для меня*, я знаю. Я хотѣла имѣть *вашу* работу. Она сохранить меня для моего ребенка...

И туть увидаль Илья, какъ ея глаза потемнъли скорьбю, и горько сложились губы. Словами сказалъ:

— Сладко было мнъ писать вашъ образъ!

А взглядомъ сказалъ другое.

Робко взглянула она. Этоть взглядъ принялъ Илья въ награду.

XVII

Вернулся баринъ съ охоты, — а говорили, что и съ «полотнянки», — выполнилъ объщаніе. Получилъ Илья волю по законной бумагъ. Спрашивали Илью дворовые:

— Куда жъ ты опредълишь себя, Илья?

И удивлялись, что не думаеть Илья ъхать на вольную работу. Иные говорили:

— Тепло ему сидъть на нашей шеъ!

Говорилъ имъ Каплюга:

— Дураки вы, дубье. Да вамъ его чтить какъ надо! Взялъ, одинъ, такой трудъ на себя, расписалъ вамъ церкву! Два года, почитай, работалъ! А вы: тепло ему на нашей шеъ!

Не хотълъ Илья никуда ъхать. Осень, — куда поъдешь! Пошелъ къ барину, — спасибо, сказаль, за волю. Попросилъ, не разръшить ли пока до весны остаться. Разръшилъ баринъ:

— Живи, Илья, хоть до смерти! Это твое право. Подивился Илья: сталъ ему носить Спирька-Быстрый барское кушанье.

Спросилъ Спирьку:

— Скажи, кто приказаль тебъ кушанья мнъ носить?

Ухмыльнулся Спирька:

— А барыня такъ наказала.

Помялся-потоптался и прибавиль:

— А баринъ опять къ дъвкамъ своимъ уъхалъ. Барыня-то никакъ больно скучаетъ... Сладко заныло сердце Ильи. Пошель въ паркъ, бродилъ по шумящимъ листьямъ, смотрѣлъ къ сквозившему черезъ облетъвшіе кусты дому. Недѣлю все ходилъ, ждалъ встрѣтить. Шли дожди. Плохо стало Ильѣ: надорвала ли его сжигающая работа, или пришелъ давно подбиравшійся недугь, — слабѣть сталъ Илья, и не оставлялъ его кашель. А разъ принесъ обѣдъ Спирька, смторить — сидитъ Илья передъ жаркой печкой въ тулупѣ. Сказалъ Илья:

— Съвшь за меня, Спиря...

А на утро забълъло за окнами: выпалъ снъжокъ въ морозцъ. Обрадовался Илья зимъ: приносить зима радость. Сталъ онъ прибирать въ комнаткъ, и слыпитъ: стучатъ каблучки на порожкъ. Глянулъ Илья къ окошку и схватился за сердце: она, молодая госпожа его, стояла на крылечкъ въ бълой шубкъ, въ бълой на головъ шелковой шали, новая.

— Воть и пришла къ вамъ въ гости, Илья! — сказала она, озаряя глазами. — Вы заболъли?... Пришла поблагодарить васъ за работу... забыла.

И она, ласковая, протянула ему руку. Закружилось и потемнёло у Ильи въ глазахъ, схватиль онъ маленькую ея руку, жадно припалъ губами, палъ передъ нею, своей царицей, на колени, осыпалъ безумными поцёлуями ея заспеженныя ноги, плакалъ...

Она смотръла на Илью въ страхъ и не отнимала руку. Вспоминалъ Илья, что страхъ былъ въ глазахъ ея и нъжность, и боль непередаваемая, и еще, что онъ такъ и не назвалъ словомъ. Шептала она въ страхъ:

[—] Милый . . . встаньте . . .

Но онъ обнялъ ея тонкія колѣни и называлъ — не помнилъ. И увидалъ Илья новое лицо: огнемъ вспыхнуло блѣдное лицо ея, и пробѣжало синимъ огнемъ въ глазахъ; и губы ея помнилъ, ея новый ротъ. потерявшій дѣвственныя черты и жаркій.

Только одинъ мигъ было. Твердо взглянула она

и сказала твердо:

— Илья, не надо.

И торопливо вышла. Видъть Илья слезы въ ея глазахъ. Былъ этотъ день послъднимъ счастливымъ днемъ его жизни — самымъ яркимъ.

Сталъ Илья доживать дни свои: немного ихъ оставалось. Лежалъ отъ слабости днями и вспоминалъ трудную жизнь свою. И подумалъ: «мнъ житъ недолго; пусть она, свътлая госпожа моя, узнаетъ про жизнь мою и про мою любовь все». Взялъ тетрадь и началъ писать о своей жизни.

Къ веснѣ услыхалъ Илья, что родилась у барыни дочь, а баринъ другую недѣлю пропадаеть на охотѣ. Пришла навѣстить тетка Агафья и сказала Ильѣ, что барыня съ полгода будто не живеть съ бариномъ, «не спить, оказать прямо», а перебралась въ дѣдовскую половину. Узналъ и еще Илья, будто застала барыня свою горничную Анюту съ бариномъ въ спальной.

Понялъ тогда Илья многое, и скорбью залило душу его. А черезъ два дня — поразило его какъ

громомъ: барыня скончалась.

Онъ едва могъ ходить, но собралъ силы и пришель проститься. Новую увидалъ Илья, свътлую госпожу свою, прекраснъйшую во снъ послъднемъ. Далъ, какъ и всъ послъднее цълованіе.

Послъ погребенія праха новопреставленной Анастасіи пришель Илья къ барину, сказаль:

— Хочу расписать усыпальницу.

Уныло взглянулъ на него баринъ и сказалъ уныло:

– Да, плохо, Илья, вышло. И ты захирѣль...

II v. пиши . . .

Двъ недъли работалъ Илья въ холодномъ и сыромъ склепъ, писалъ Ангела Смерти, перегнувшагося по своду, съ черными крыльями и каменнымъ ликомъ, съ суровыми очами, въ которыхъ стояли слезы. Склонялся этоть суровый Ангель надъ изго-ловьемъ могилы Анастасіи. Подъ черный бархать расписаль Илья своды и написаль живыя бълыя

лиліи — цвъты прекрасной страны.
Кончивъ работу, самую тяжкую изъ работь своихъ, слегъ Илья и не подымался больше. Пришелъ его навъстить Каплюга. Сказалъ ему Илья:

— Вотъ, умираю. Сходи въ монастырь, Ани-сьичъ... дай знать. Привези на своей лошадкъ духовника обительскаго, у него исповъдался... јеро-

монаха Сергія. Не доберусь самъ. Исполнилъ Каплюга послъднее желаніе Ильи: самъ привезъ іеромонаха. Пробылъ іеромонахъ Сергій одинъ на одинъ съ Ильей съ часъ времени, потомъ вызвалъ дъячка, старуху Агафью и скотника убогаго Степашку, — какъ свидътели будутъ, — и при всвхъ объявиль Илья, — монастырю оставляеть образъ «Неупиваемая Чаша». И туть въ первый разъ увидалъ Каплюга икону, завъшанную новой холстиной. Приказалъ Илья снять покрывало, и увидали всъ Святую съ золотой чашей. Ликъ Богоматери быль у нея — дивно-прекрасный! — снъжно-бълый убрусъ, осыпанный играющими жемчугами и бирюзой, и «поражающе» — показалось дьячку — глаза. Подивился Каплюга, почему безъ Младенца писана,

не уставно, но смотрълъ и не могь отвести взора. И совсемъ убогій, полу-немой, кривоногій скотникъ

Степашка смотрълъ и сказалъ — радостная. Умеръ Илья теплой весенней ночью. Сдышалъ черезъ отворенное окошко, какъ поеть соловей въ паркъ, къ прудамъ. Слушалъ Илья и думалъ поеть на островкъ, въ черемухъ. Приняли послъдній вздохъ Ильи тегка Агафья и старикъ Степаніка.

Разсказывала Каплюгъ старая Агафья:

- «Скажи, говорить, тетенька Агаша, будто соловей поеть, слышно?»
 - «Поеть, говорю, Илюша».
- «А гдь-жъ онъ поеть, тетенька... на прудахъ?»
 - «На прудахъ, говорю, на островку». «На островку?» говорить.
- «На островку, говорю, Илюшечка». А потомъ подремалъ... «Тетенька Агаша... ты, говорить, все себъ бери, имънье мое ... роднъй тебя нъту»... А потомъ Степашку увидалъ. «Дядъ Степану дай чего, тетенька Агаша... тулупъ отдай»...

Приняли они, двое убогихъ, послъдній вздохъ Ильи, тихо отшедшаго. Тихо его похоронили, и приказаль баринь положить на его могилу большой валунъ-камень и выбить на немъ слова.

Умерь Илья — и забыли его. Травой заросла могила его на съверной сторонъ церкви, осълъ камень и сталъ обростать мохом. Стало и его не видно вь густой травв.

XVIII

Принялъ монастырь Ильину икону — Неупиваемая Чаша, — даръ посмертный. Дивились настоятельница и старыя: зналь хорошо Илья уставное ликописаніе, а живописалъ Пречистую съ чашей, какъ мученицу, и безъ Младенца. И смущеніе было въ душахъ ихъ. Но іеромонахъ Сергій сказаль:

— Чаша сія и есть Младенецъ. Писали древніе христіане знакомъ: писали Рыбу и Дверь, и Лозу Виноградную, — знаменіе сокровенное отъ злыхъ.

Тогда поръшили соборнъ освятить ту икону, но не ставить въ церкви, а въ обительскую трапезную палату. И когда трапезовали сестры, — радо стно смотръли на икону и не могли насмотръться.

По малу времени стали шептаться сестры, что является имъ во снъ та икона — Неупиваемая Чаша. Говорили старымъ монахинямъ и на-духу іеромонаху. Стали видъть во снахъ и старыя. И пошелъ по монастырю слухъ: чудесная та икона. Тогда поъхала настоятельница къ архіерею. Положилъ архіерей: не оглашать до времени, а провърить со всею строгостью и съ сердцемъ чистымъ, дабы не соблазнялись, а пока записать все подъ клятвой. И стала вести строгую запись ученая монахиня, мать - казначея Ксенія.

По малу времени оть сего шель на свои мъста отставной служивый бомбардирь, человъкь убогій, по имени Мартынъ Кораблевь, тапцился на костыляхь послъ севастопольской кампаніи: пухли и отнимались у него ноги. Присталь въ монастырь на отдыхь. Ласково пріютили его въ монастыръ, накормили и обогръли. Пришелъ убогій Мартынъ въ трапезную палату и увидаль ту икону, радостную Неупиваемую Чашу. Тогда, въ чаяніи сокровенномь, повъдали ему сестры, что является во снахъ та икона и любовно чаказываеть перенести ее въ соборную церковь для всетоманыхъ моленій. Не могь

отвести умиленнаго взора убогій Мартынь отъ радостнаго лика Пречистой Неупиваемой Чаши и, хоть и въ великое тружденіе ему было, положиль передъ Ней три земныхъ поклона. И во всю трапезу сидълъ, не отводя глазъ отъ невиданнаго лика, и молился втайнъ.

А поутру потребоваль настоятельницу и передаль ей подъ великой клятвой: явилась ему, какъ на-яву будто, дивная та икона Пречистой Богоматери съ Золотой Чашей и сказала: «Пей изъ Моей Чаши, Маргынъ убогій, — и исц\(\text{Атишься}\)».

Сказала настоятельница:

— Я и сестры обители не единожды сподоблялись откровенія Пречистой, но сохраняемъ сіе до времени втайнъ.

Тогда неотступно и со слезами сталъ убогій Мартынъ просить, чтобы отслужили передъ Неупиваемой Чашей молебенъ съ водосвятіемъ. Просьба его съ радостью была исполнена, и въ трапезной палатъ совершено было торжественное моленіе съ водосвятіемъ. Со слезами молился весь монастырь, прося чудеснаго оказанія, освятили воду, и взялъ болящій Мартынъ той воды въ склянку и растиралъ ноги. Но не даровала ему Пречистая испъленія.

Втайнъ скорбъли сестры, и поселялось въ душахъ ихъ искушеніе и соблазнъ. Съ великой печалью оставиль Высоко-Владычній монастырь Мартынъ убогій.

А поутру прибъжала, какъ не въ себъ, съ великимъ плачемъ и слезами, старая матъ-вратарница Виринея на крыльцо настоятельницы и вскричала:

Виринея на крыльцо настоятельницы и вскричала:
— Призръла Пречистая скорби наши! Исцълился Мартынъ убогій, видъла своими глазами!
Безъ костылей ходить!

Не см'я радоваться, спрашивали ее: откуда знаеть? Говорила она, обливаясь радостными слезами:

— У св. вороть разсказываеть Мартынъ народу. Тогда пошли всей обителью и увидъли: стоить солдать Мартынъ, а кругомъ него много народу, потому что день былъ базарный. Босой былъ Мартынъ и всъмъ показывалъ свои ноги! Дивились сестры — были тъ ноги, какъ у всъхъ здоровыхъ и крестнымъ знаменіемъ свидътельствовали и настоятельница, и старыя, что еще вчера были тъ ноги запухшія отъ воды, какъ бревна, и желтыя, какъ нарывы. А Мартынъ показывалъ костыли и возвъщалъ народу:

— До Михайловскаго, братцы, едва дополав... ноги стало ломать, мочи нъть! Приняли на ночлегь меня, помогли въ избу вибъть... Положили меня бабы на печь и по моей просъбъ стали мнъ растирать ноги святой водой отъ Неупиваемой Чаши. А у меня и силъ вовсе не стало, будто ноги мнъ ръжуть! И сталъ я совсъмъ безъ памяти, какъ обмеръ. И воть, братцы... даю крестное цълованіе... пусть меня сейчасъ Богъ убъеть!... слышу я сладкій голось: «Мартынъ убогій!» И увидалъ я Радостную съ Золотой Чащей... съ невиданными глазами, какъ свътъ живой... «Встань, Мартынъ убогій, и коди! и радуйся!» Очнулся я, братцы, ночь темная, не видать въ избъ... Спать полегли всъ. Чую — не болять ноги! Тронуль... Господи! да гдъжъ бревна-то мои каторжныя?! Самъ съ печи слъзъ, стою — не болять ноги, не слыхать ихъ вовсе! Побудилъ козяевъ, засвътили лучину... А я кожу по избъ и плачу...

Йодтвердили его слова мужики и бабы, что пришли съ Михайловскаго съ Мартыномъ. Тогда запумълъ народъ и просилъ отслужить молебенъ Неупиваемой Чашъ.

Возликовала Высоко-Владычная обитель, и пошла молва по всей округв, и стали неистощимо притекать къ Неупиваемой Чашв, многое множество: въ болвзняхъ и скорбяхъ, въ уныніи и печали, въ обидахъ интущіе утвшенія. И многіе обрвтали его.

Повелѣлъ архіерей, уступая неоднократнымъ просъбамъ обители и получившихъ утѣпеніе, перенести ту икону въ главный соборъ, прибылъ съ духовной комиссіей и лицезрѣлъ самолично. И долгое время не могъ отвести взора отъ неописуемо-радостнаго Лика. Сказалъ проникновенно:

— Не по уставу писано, но выраженіе великаго Смысла явно.

И повелъть ученому архіерейскому мастеру, до Лика не прикасаясь, изобразить Младенца въ Чашъ стоящаго: будеть сія икона по ликописному списку — Знаменіе.

Прибыль въ обитель ученый иконописный мастерь и дописалъ Младенца на св. Лонъ въ Чашъ. И положили годовое чествование мъсяца ноября въ двадцать седьмый день.

Годъ отъ году притекалъ къ Неупиваемой Чашъ народъ, — годъ отъ году больше. Стала округа по читатъ ту икону и за избавленіе отъ пъянаго недуга, стала считатъ своей и наименовала по-своему — «Упиваемая Чаша».

Еще не отъвхавшіе въ городъ дачники изъ окрестностей, окружныя помвщичьи семьи и горожане ближняго увзднаго города любять бывать на подмонастырной ярмаркъ, когда празднуется въ Высоко-Владычнемъ монастыръ Престолъ — въ день
празднованія Рождества Богородицы, 8 сентября.
Здъсь много интереснаго для любопытнаго глаза.
Вот уже больше полвъка тянутся по лъснымъ дорогамъ къ монастырю крестьянскія подводы. Изъ-за
сотни версть везуть сюда измаявшіяся бабы своихъ
близкихъ — бъснующихся, кричащихъ дикими голосами и порывающихся изъ-подъ веревокъ мужиковъ звъринаго образа. Помогаеть отъ пьянаго недуга «Упиваемая Чаша». Смотрятъ потерявшіе человъческій образъ на неописуемый Ликъ обезумъвпими глазами, не понимая, что и кто Эта, свътло
взирающая съ Золотой Чашей, радостная и влекущая за Собой, — и затихають. А когда несутъ Ее
тихія дъвушки, въ бълыхъ платочкахъ, слъдуя за
«престольной», и поютъ радостными голосами —
«радуйся, Чаше Неупиваемая!» — падають подъ нее
на грязную землю тысячи изболъвшихся душою,
ищущихъ радостнаго утъшенія. Невидящіе воспаленные глаза дико взирають на свътлый Ликъ и ленные глаза дико взирають на свътлый Ликъ и ленные глаза дико взирають на святлыи ликь и изступленно кричать подсказанное, просимое — «зарекаюсь!» Бьются и вопять съ проклятіями кликуши, рвуть рубахи, обнажая черныя изсыхающія груди, и изступленно впиваются въ влекущіе за Собой глаза. Приходять нев'єсты и в'єшають розовыя ленты — залогь счастья. Молодыя бабы приносять первенцовъ, — и на нихъ радостно взираеть «Неупиваемая». Что къ Ней влечеть — не скажеть никто: не нашли еще слова- сказать внутреннее свое.

Чують только, что радостное нисходить въ душу.

Знають въ обители, что бродившій въ округ'в разбойникъ Акимъ Третьякъ принесь на икону алмазный перстень, прислаль настоятельницъ съ

запиской. Не приняль монастырь дара, но записаль въ свой списокъ, какъ «чудесное оказаніе».

Шумить нескладная подмонастырная ярмарка, кумачами и ситцами кричать пестрые балаганы. Горы бълыхь саней и корыть свътятся и въ дождъ и въ солнцъ — на черной грязи. Рядкомъ стоять телъги съ желтой и синей ръпой и алой морковью, а къ стънамъ жмутся вываленные на солому ядреная антоновка и яркій анисъ. Не мъняетъ старая ярмарка исконнаго вида. И рядками, въ въночкахъ, благословляють ручками-крестиками толпу Микалы Строгіе. Нищая калъчь гнусить и воеть у монастырскихъ вороть.

И ходить-ходить по грязной, размякшей площади и базару бълоголовыми дъвушками несомая «Неупиваемая Чаша». Радостно и маняще взираеть на вобхъ.

Шумять по краямъ ярмарки, къ селу, гдъ лошадиное становище, трактиры. Тамъ красными кирпичами кичится богатая для села гостиница Козутопова, «Метропыль», славящаяся солянкой и женскимъ хоромъ — для ярмарки, когда собирается здъсь много наъзжихъ — за лошадьми. Бродять эти пъвицы изъ хора по балаганамъ и покупають «ярославскіе сахарные апельсины», сладкій макъ въ плиточкахъ и липовыя салфеточныя кольца. Смотрять, какъ валится народъ подъ икону.

Смотрять и дачники, и горожане. Выбирають мъстечко повыше и посуще, — отсюда вся ярмарка и монастырь, какъ на ладони, — и любуются праздникомъ.

Отсюда беруть на холсть русскую самобытную пестроту и «стильную» красоту заважие художники.

Нравится имъ бълый монастырь, груды саней и бълаго дерева, ряды желтой и синей ръпы и кумачевыя пятна. Дачники любять снимать, котда народъвалится подъ «Неупиваемую Чашу». Улавливають колорить и духъ жизни. Насмотръвшись, идуть къ Козутопову ъсть знаменитую солянку и слушать коръ. Пощелкивають накупленными «кузнецами», хрустять ръпкой. Спорять о темнотъ народной. И мало кто скажеть путное.

Ноябрь 1918 г. Алушта.

это выло

(РАЗСКАЗЪ СТРАННАГО ЧЕЛОВЪКА)

Я прекрасно знаю, что это было.

Меня захватывало блаженствомъ ужаса, крутилъ вихрь на грани безумія и смысла...

Случилось это во время прорыва подъ М... Кажется, тогда... Нъть, я буду говорить опредъленно, — это даеть увъренность: это случилось тогда. Вътылу у насъ очутилась нъмецкая кавалерія, — и фронть сломался.

А вотъ что раньше.

Мъсяца два передъ тъмъ меня засыпало взрывомъ нъмецкой мины. Двое сутокъ пролежалъ я въ землъ, подъ счастливо скрестившимися надо мной бревнами, какъ въ гробу. Откуда-то проникалъ воздухъ. Надъ моей головой ходили въ атаки, прокалывали другъ друга, поливали мою могилу кровью. Иногда мнъ казалось, что я слышу хрипъ нъмца: «тайфэль... майнъ готтъ»... рычаніе родной глотки, изступленно-гнусную брань и молитвенный стонъ...

Этоть участокъ фронта, изрытый кротовьими ходами - гитадами, съ подлой начинкой изъ нитровъ и толуоловъ, какъ сыръ швейцарскій ноздрями, разъ пять переходиль изъ рукъ въ руки въ эти два дня. Пьяная смерть раздълывала надо мной канканъ. Я приходилъ то въ отчаяніе, то въ безумный ужасъ... пытался задавиться на ремешкъ отъ

брюкъ и терялъ сознаніе... проклиналъ и молился... Я — молился! Кусалъ пальцы, рвалъ волосы ... заводилъ часики на рукѣ, кричалъ ура ... До тошноты, до полнаго отупѣнія, — чтобы не потерять разсудка, — твердилъ: «a плюсь b въ квадратѣ — равняется ...» А надо мной топотали и топотали, ревѣли, рычали и кололи другь друга.

Это очень чудно — следить за войной изъ гроба! Приходять веселенькія мысли... Будь при мне «гнездышко» пудовъ на пять, — съ какимъ бы восторгомъ взорвался я вместе съ этими пимпанзе и гориллами! Я вспоминалъ моего милаго сеттера, рыжаго «Гомо», — увы, разорваннаго гранатой, — какъ онъ, съ фляжкой на шее, разыскивалъ ночью раненыхъ... Воистину, онъ былъ выше этихъ!

Изъ моего «гроба» я цѣнилъ глазами потусторонняго...

Наконецъ, пляска кончилась. Наплясали гору человъчьяго навоза, выбили нъмцевъ... Ночью тихой услыхали мой стонъ, и...я поъхалъ въ продолжительный отпускъ.

Два мъсяца! Славное было время... Чудесно провелъ я эти два мъсяца! Это былъ солнечный, тихій сонъ...

Я жилъ внъ обычной жизни, я жилъ и — не жилъ, и . . . я былъ неопредълимо счастливъ. Такова жизнь блаженныхъ . . .

Для меня уже не существовало женщинъ, словно я отдалъ землъ всю силу. Пустынники понимають прекрасное...

Машинки въ юбкахъ для выдълыванія болвановъ будущаго! Раскрашенной канарейкъ, щебе-

тавшей о чемъ-угодно, отъ Фурье и Бергсона до футуристовъ и абортизма, — она прошла полтора факультета и санитарные курсы, — сторонницъ «свободной любви», я, помню, сказалъ серьезно:

— Такихъ же взглядовъ и мои молодцы-саперы!

Они васъ поймуть. 35-й саперный, фронть...

Она... расплакалась!

Чудесное было время. Я жилъ цвътами...

Бывало—вьюнокъ развъситъ тысячи колокольчиковъ, всъхъ тоновъ, парадомъ встръчаетъ утро. А душистый горошекъ... этотъ — семейный, усатый, цънкій! подремываетъ себъ на тычинахъ, выпустивъ нестрыя стайки своихъ мотыльковъ — поиграть на солнцъ. Съ утра до ночи страстно полыхаютъ огни, несгорающіе костры настурцій... Левкои покоятъ глазъ дъвственной бълизной, а резеда весь садъ заливаетъ неуловимымъ своимъ дыханьемъ — музыкой подъ-сурдинку...

Мало еще знають цвъты, таинственный ихъ

языкъ и — душу!

Слыхали ли вы, какъ органно звучать бархатные голоса георгинъ? Какъ солнечно-звонко кричать

красные маки и дътски лепечутъ маргаритки?

Я цъловать ласточекь налету, бабочекь надъ цвътами, столбики суетливой мошкары въ тихомъ вечернемъ свътъ. Я завелъ кроткихъ куръ, важнопокойныхъ палевыхъ кохинхинъ, этихъ себя уважающихъ дамъ въ перыяхъ, дарившихъ мнъ чудесное — «всмятку». Разговаривалъ о философіи жизни съ уравновъшеннымъ пътухомъ, отвъчавшимъ мнъ въжливо:

— Все проходить, мой другь... все — пустякъ. Любовался озабоченными маменьками-индюш-ками, дъловито поглядывавшими зеркальнымъ глаз-

комъ на небо, вывернувъ голову: — дождя не будеть ли? Я узналъ маленькіе секреты этой удивительной мелюзіч, ихъ наивную простоту переживаній, покой и трепеть солнечныхъ радостей, ихъ мистическій страхъ въ сумерки, когда они хотять и боятся отдаться ночи, вытягивая въ темноту шейки. А ласки сколько, ласки и радости передъ человѣкомъдругомъ!

Съ отвращениемъ вспоминалъ я рёвъ — рыкъ, влажное — тррр . . . — отъ вспоротаго брюха и топотъ подкованныхъ орангутанговъ... животную вонь пота, шмыганье сопливыхъ носовъ и зоологическія

«исканія»...

Заглядъвшагося на меня индюка я спрашиваль: — О чемъ, братъ, думаешь? Че-ло-въкъ... — это звучитъ... гордо?

Пыжился-багровълъ индюкъ, откатывался, словно на колесикахъ, кругами, возилъ по землъ рулями-крыльями:

— Воть э-то... — гордо!

Милый гордецъ!

Я цѣловалъ эти разноглазыя птичьи головки, безъ грязныхъ думокъ, всѣ разныя, всѣ — знающія самыя нѣдра жизни. Ихъ нюхъ, конечно, выше Бергсона.

Я ласкалъ глазами пѣгонькую телушку, зашедшую къ вечеру на далекій бугоръ, раздумавшуюся отъ тугого брюха. Она задумчиво смотритъ въ потемнѣвшія вдругь поля, осматривается пугливо-недоумѣнно—это что? ночь?.. — и дѣтской еще трубой пускаетъ ночи свои испуги.

Я слышу голосъ вечерней бабы:

— Милуша-Милуша-Милушъ!... Чево ты тама... иди, не бойся... И чую я, какъ ласка животнымъ шелкомъ связываетъ обоихъ.

Но воть и конець. Меня призывають продолжать, говорять, что нервы мои въ порядкъ, и я могу опять раздълывать подъ-оръхъ.

Жаль, что я не маленькая зарянка, владълица чудесной квартирки на старой липъ, съ электрическимъ освъщенемъ въ іюльскія ночи, когда небо играетъ пудовыми шарами. Почему не могу я сновать по садамъ на крыльяхъ безшумныхъ, присаживаться на жасминъ и спрашивать сумрачнаго человъка на подоконникъ:

— Я-не-та-ка-я? . . я-не-та-ка-я? . . .

Я прощаюсь, растроганный. Индюку говорю, что индюкь — царь природы, и онъ кружить оть гордости автомобилемь. Пътуху признаюсь, что теперь вполнъ раздъляю его философію, — все проходить! Телушкъ совътую не бояться ночныхъ полей и вырасти въ молочную гору. Сыплю всъмъ шпена и гороху досыта и шепчу солнцу: — храни дътей!

Говорю коротенькое словцо цвътамъ-сироткамъ и смущенно сую подъ плащъ глупую шашку. Прощай, тихое небо, прощай! И ты, вольное солнце, проснувшееся за лъсомъ, прощай... Кто это—будто зоветь меня? Ахъ, зарянка... Счастливая, будешь въ тишинъ жить...

Меня провожаеть мудро-унылымъ глазомъ старуха — кобыла, съ отвислой губой, —«Матрона» — словно хочетъ сказать: «эхъ, зря! оставайся-ка лучше съ нами... столбунцы будемъ теть, сныть сладкую!»...

И знасте, что сказалъ я тогда этой мудрой старушкъ?

Я плотно сълъ въ тарантасъ и сказалъ въ тугую спину Антона:

— Но если я еще не доросъ до вашей свободы, мадамъ! Если я до ужаса боюсь смерти, страха ея боюсь, и потому... лъзу къ ней въ лапы! Вамъ, ма-

дамъ, этого не понять: это звучить ... гордо!

Воть закрою глаза—и такъ ясно слышу: сочно похрустываеть кобыла, отфыркиваеть въ довольствъ... постукиваеть на колеяхъ тарантасъ, прощально поеть пътухъ... Какія облачка стояли надъголовой, съ золотисто-розовыми краями! А въ длинной аллеъ, за липами, дремали еще въ кустахъ тъни послъдней ночи... Воть-воть проснутся...

Не воротишь.

II

Снова грохоть колесъ, водовороты на станціяхъ. Снова мъшки и мъшки, котелки и штыки, рёвъ и рыкъ, и несмолкающій скрёбъ тысячъ и тысячъ ногъ, все отыскивающихъ върную дорогу. Грязные стаканы на липкихъ столахъ, женщины, съ блудливо-объщающими глазами и кровяными губами трепаныхъ куколъ. Ночлеги въ логовахъ, съ грамофонами тамъ и сямъ, съ гикомъ молодыхъ лошаковъ, съ визгами бабъ, потерявшихъ солнце. Гроба и носилки полевыхъ госпиталей; схватки обозныхъ у переправъ, казаки, съ крадеными коврами на рукъ, съ пузатой розовой вазой, втиснутой въ торока съ съномъ; разрываемые на части станціонные коменданты, посылающіе всъхъ къ чортовой матери...—плескъ и хлябъ человъчьяго наводненія.

Запахъ кровавыхъ полей проникаеть въ меня до нъдръ, и уснувшая было сила начинаетъ шумъть

и звать. Я вспоминаю болтливую канарейку и жалью, что ея нътъ со мной. Подхватываеть меня... захлестываетъ волна кроваваго прибоя: здъсь скатъ...

Гдв-то задерживаюсь, кручусь въ веселомъ салу, въ пропыленныхъ акаціяхъ, укрывающихъ голоту и безстыдство туманной восточной женщины, сбвжавшей съ помоста изъ ящиковъ и бочонковъ, гдв она совала въ себя змѣй-шипучекъ и обвивала жирной рукой въ индійскихъ браслетахъ позѣвывающую насть бородатаго тигра въ клѣткѣ. Смѣюсь, какъ на солнце послѣ болѣзни, на колченогихъ скрипачей въ рыжихъ фракахъ, наяривающихъ зудливое. Пью съ подлецомъ-импрессаріо, отъ котораго несеть одеколономъ и чеснокомъ, и котораго губы подозрительно сини. Вечеромъ рѣжусь «въ желѣзку» съ интендантами и жидкомъ, называющимъ себя почему-то Михель-и-Анджело. Онъ куритъ ноздрями, хлестко разсказываетъ анекдоты и разомъ выбрасываетъ четырехъ тузовъ пикъ. Выкручиваюсь въ смертельной тоскѣ,—съ чего?!—Частенько спрашиваю запыленное небо:—«а что-то теперь мои дамы въ перьяхъ?»— и мнѣ до слезъ хочется поговорить съ пѣтухомъ.

Вспыхиваетъ во мнѣ огневая мысль, рвущая всѣ слежавшіяся, вялыя мысли, — и я кричу въ эти рожи, лакающія пиво и бессарабское:

— Хрюкайте же, скоты! вставайте на-четвереньки, ревите, лайте! Довольно въ человъковъ играть! Или сумасшедшая мысль взорветъ все! Мысль все порветъ и сожжеть!

Увы! Никакая мысль не могла бы сжечь ихъ и этотъ проплеванный садишко. Они благодушно хлопали меня по плечу, чокались пьяно и, потирая пропотъвшіе лбы, зъвали:

— Гроза будеть... За дъвчонками, что ль, послать?...

Я съ тоскою гляжу въ запыленное, безъ звъздъ, небо и призываю сказку.

Я покупаю у оборванца-цыгана укротительницѣ-тигрицѣ рѣдкостное Распятіе, изъ слоновой кости, въ серебрѣ чеканномъ, столѣтія благословенно дремавшее въ родовомъ замкѣ, обласканное мольбой голубыхъ очей, обвѣянное ароматами свѣтлыхъ волосъ красавицы-польки, изнасилованной войной, и на моихъ глазахъ, безстыжая человѣчья машинка, эта мамзель Тюлю, родившаяся растлѣнной, со смѣхомъ пьяной сучонки колеть моимъ подаркомъ орѣхи, какъ молоткомъ!

Передъ фронтомъ я отыскиваю въ себъ ошмётки вър, Ввавшій людей въ куски, я возмущенъ, взбъшенъ, осыпаю мамзель Тюлю самой солдатской бранью, вырываю у ней Распятіе и дарю Его... грязноносой дочкъ хозяина сада. Потомъ... — примиреніе, тигръ, вдругь оказавшійся парикмахерскимъ подмастерьемъ изъ Черновицъ, — вотъ она, сказкато! — безумства на мертвомъ тигръ-ковръ, среди резиновыхъ змъй-шипучекъ, — бредъ-обманъ убиваемой правды жизни...

А чего стоить она, линючая правда жизни!

Все это—подготовка къ военному бремени, можеть быть — къ повторенію «гроба».

Но пъна еще не кончилась.

До фронта еще версть семьдесять. Я вызываю со станціи моего мальчугана-шоффера Сашку съ машиной. Онъ привозить веселенькія вѣсти: нѣмцы опять зарылись въ моемъ «гробу», опять ведуть ходы, пускають изъ минометовъ «лещей», а вчера разорвало моихъ семерыхъ бомбой съ аэроплана...

— Опять выбьемь! — говоригь Сашка, краснорожій, сытый, шарящій по тыламъ «за пряниками».

Затылокъ у него кръпкій, несокрушимо-увъренный, всегда успокаивающій меня.

- Не твоими боками только.
- Хочь и моими! Андеференто.

Катимъ...

Передъ поворотомъ на Б. — Сашка начинаетъ ерзатъ рулемъ и игратъ скулами, —скулы у него еще лучше затылка, съ глянцемъ! 'Бдемъ тише, на перебояхъ. Мапина начинаетъ покашливатъ. Сашка ругаетъ масло, бензинъ, магнетто. Зеркало души его — затылокъ — какъ-будто начинаетъ потътъ, бойко играютъ скулы...

— Да что такое? . . .

У поворота машина осъдаетъ съ ворчаньемъ, Сашка слъзаетъ и начинаетъ нырять подъ кожухъ. Въ промежуткахъ я слышу, что въ прошлый заъздъзабыли у казначея запасныя части, и надо бы, вообще говоря, ремонтъ. Онъ кряхтитъ подъ машиной, лежа на брюхъ, стучитъ ключомъ и сопитъ. Я понимаю, что ему хочется въ Б., гдъ у него пряничная дъвчонка.

До Б. — версть тридцать, въ сторону отъ большого тракта.

Манить и меня въ В., въ прохладный покой холостяка-пріятеля, лѣть на двадцать старше меня: отоспаться на турецкомъ диванѣ, подъ «Пашой съ кальяномъ», ѣсть литовскую ветчину, пончики и хрусткій «хворость»; хочется золотистой старки изъ подвалювь «самого Понятовскаго», ласкать пальцами пузатые потные кувшинчики со столѣтнимъ медомъ, съ бальзамами, съ вытяжками, со знаменитымъ

«дътскимъ дыханьемъ», отъ котораго грезы наваливаются туманомъ. — и открывается міръ нездішній. Стариканъ — казначей обязательно заколеть тельца, а котлеты прикажеть Зоськъ вымочить въ сливкахъ и обвалять въ грецкомъ оръхъ.

Я поглядёль вокругь... Равнина-даль, съ подымающимися синвющими лесами — къ фронту. Дубы... Охватила тоска, предчувствіе пляски смерти. Одинокій «фарманъ», какъ ворона надъ полемъ, — далеко, неслышенъ . . . И вдругъ, на сиротливомъ кусту, пичужка — какъ-будто спрашиваетъ меня:

- Я-не-та-ка-я? . . . я-не-та-ка-я? . . .
- Нъть, ты не такая!

Воть туть до тоски захотвлось уюта. Съ головой бы накрыться бъличьимъ покрываломъ — роскошью казначейской! Упиться «детскимь дыханьемъ», — и уйти въ нирвану...

Я соблазниль себя казначейской ванной, — когда-то ее увидишь!--мягкими туфлями изъ ангорскаго кролика, въ которыхъ буду бродить цълый день, цёлыхъ два дня!-выходить въ бёль на крылечко. кликать цесарокъ и корольковъ и швырять золотистый горохъ моченый ...

- О, если бы на пустынный островъ! Тишины бы только . . .
- Ужъ ухлопаемъ мы машинку! мрачно говорить Сашка.

Онъ отлично знаетъ и мои колебанія у сворота.

— А не повернуть ли, Сашка?...

Онъ старательно работаетъ насосомъ - весь въ дълъ, но скулы его играють.

- Андеференто! На Б.!

Машина—ревучій вихрь, рветь и сверлить воздухь. Падають за нами столбы, стръляеть щебнемь... Играють желваки за ушами у Сашки. Поеть моторь скоростями, позвякиваеть срывно... воеть желъзо въ вихръ...

III

Въ обители казначейской закрутило меня бучило . . . Экзотика!

Представьте: Италія, Греція, Аргентина...— туть! въ глухомъ и затхломъ городишкъ литовскомъ! Правда, — то же, что Турція надъ табачной лавкой, на вывъскъ какого-нибудь живописца-проройцы, или Ямайка на ромовой бутылкъ... Но... старка! но... «дътское дыханье»! Дъти изъ лоскутковъ создають сказочные наряды.

О, хрупкая человъчья машинка! Черезъ гашишъ она видитъ арабскія сказки въ помойной ямъ.

Какой силой волшебной нанесло ихъ туда, трепаныхъ и потертыхъ, линючихъ дътей экзотики, на старку пермяка-казначея?

Меня крутило... Я слышалъ чужую ръчь — пъвучую ръчь и гортанный говоръ. Циркъ ли то быль заблудшій, факиръ ли изъ Индіи дотацился до городка, чтобы открывать будущее, розорвать заказанную завъсу?

Я видѣлъ рожи... Онѣ плясали передъ глазами, какъ бываетъ въ кошмарномъ снѣ, — вздувались и опадали, расплывались въ гримасы и улыбки. О, эти улыбки ряженыхъ обезьянъ, пощелкивающія пасти!

Нъть, не бредъ это быль... Это было! Я и сейчасъ еще слышу запахъ человъчьяго стойла, ъдкаго пота вочеловъчившейся гориллы-пса, сладко томящій запахъ банановъ и ванили... Туть нъть ничего смъшного. Да, гнусное стойло и... бананы! Кто они были? какого племени? Не то поляки,

не то... Итальянецъ, какъ будто, былъ... Да, сеньоръ Казилини... Еще бы безъ итальянца! Въчный городъ, сады Ватиканскіе, Капитолій и Колизей, форумъ Траяна и термы Каракаллы... пиніи, арки и акведуки, холмы въ колоннахъ, башня-замокъ св. Ангела... — выплыли для меня изъ краснаго галстуха въ сальныхъ пятнахъ, съ зеленымъ жучкомъбулавкой, изъ тугого кривого носа и усовъ — черныхъ щеточекъ-ёршиковъ, съ этого шершаво-угристаго лица коричневаго шагреня. Лазурныя волны заплескали въ меня изъ горячихъ, но сонныхъ, въ истомъ, глазъ, съ голубоватыми переливами отъ бълковъ. Неаполитанской остеріей полыхнуло отъ обшарпаннаго малиноваго жилета въ бархатныхъ шашечкахъ, отъ гнусно болтающейся цъпочки, съ кучкой брелоковъ-гремучекъ, съ неизмънной похабной панорамкой, — прокислымъ виномъ и прогорклымъ масломъ и ... сладкимъ духомъ перезрълаго апельсина...

Опять фантазія?... А знакомы ли вамъ тонкія струйки вагонныхъ купэ въ экспрессахъ, гдѣ теряють свой эпидермисъ человѣчьи сливки? Только — сливки? Дыханіе элегантныхъ женщинъ, смѣшанное съ симфоніями духовъ Парижа и Лондона, неуловимая эманація брилліантовъ и глазъ, мелодія словъ изящныхъ, слабый запахъ увядшихъ розъ, ананаса и шоколада? Ароматы шампанскаго и шабли, шамбертэна и сигареть самыхъ тонкихъ... — этоть

непередаваемый эсс-букэ челов вчьяго превосходства? И въ этомъ «букэ» стоить, все пропитываеть собою. тоже неуловимый «букэ»... человъчьей гнили!

Грекъ еще быль-топтался на мягкихъ лапахъ, съ повислымъ усомъ, невыспавшійся отъ въка, чревовъщатель и «рахат-лукумпикъ» для фронта. Подаваль съ потолка голось:

— Кали-мера!

Приближалъ ко мнъ выпуклые глаза-маслины и надуваль вялыя щеки, поплевывая фисташкой:

— Вазьмытэ напрымэрь... циво это?...

Пискляво-тонкій быль его голосокь, и полонь быль его дряблый роть фисташками, зеленоватой кашицей.

— Вазьмыте напрымэрь... И еще... Аргентинка! Чудесная человъчья самка.

Высокая, роскошная въ бюсть, тонкая въ таліи, вь бедрахъ широкая, суживающаяся книзу въ иглу, стройная, черноглазая, міздноволосая, съ носомъ-пуговкой и обжигающимъ взглядомъ вороньихъ глазъ хищныхъ, съ усиками и родинками, гдъ нужно. А носикъ — пуговкой! Кто бы могъ подумать, что въ этой пуговкъ быль конець запутаннаго клубка! Потомъ поймете... Знайте одно, что забавница-жизнь неизмъримо богаче самаго буйнаго фантазера, знайте. И не говорите: не можеть быть. Все овик В !атыо.

Да... Аргентинка. Бълая шея-стольбъ, въ золотисто-розовой пудръ, въ бархатно-нъжныхъ складкахъ, въ кораллахъ, обвитыхъ жемчужнымъ золотомъ, съ крестикомъ въ изумрудахъ — въ выръзъ чернаго шелка.

Она ходила — играла, откидывая и свивая у ногъ чернаго шелка трэнъ, въ колесъ-шляпъ изъ султанскаго страуса, съ ръсницами и бровями, которыя могуть присниться только.

Она говорила — пъла:

— О, кабаллеро! . . . о, кабайеро!

Не могу передать игру этихъ словъ щекотныхъ, искрой пронизывающихъ нервы. Она умъла! Даже стариканъ-казначей захлебывался въ истом в и хрипълъ мнъ въ ухо:

меня... не могу... щекотно! О, ка-— Она

байльерро!

Только это, одно это слово,—и сыпучій, и звонкій-звонкій, какъ мелкое серебро, смѣшокъ сиплый... Такой... не сиплый, нѣть... Нѣть такого въ языкъ слова, чтобы передать звукъ этого смъха женшины, намекающаго интимно. Не кольца ли это ея смъются, сверкающая броня на пальцахъ? Пахло бананами отъ нея, — бананами и душной ванилью. Было отъ нея знойно и влажно, какъ отъ нагрътой палящимъ солнцемъ морской лагуны.

Въ дымкъ туманной сновали передо мной лица. Не призраки. Смотрите сюда... Видите на рукъ царапину, этотъ шрамъ бъловатый? Это она, играя моей рукой, шутливо провела перстнемъ... за-

пятую!

Схватила мою руку и сказала:

— О, кабаллеро! о, кабайеро! И... черкнула. Черкнула, плотоядно стиснувъ мелкіе зубки.

А ея накрашенныя губы, изогнутыя нѣгой! А переливающіяся, играющія складки шеи! Змѣя, питающаяся кровью...

Романтика? Погодите — узнаете.

Откуда, зачвиъ они?

А не все-ли равно — откуда! Война вытряхиваеть человъчьи укладки, мететь человъчью пыль.

Когда раньше слыхали вы столько прозваній гнусныхъ, человъчьихъ мътокъ?! Подлыхъ и страшныхъ мътокъ! Я знаю теперь, что есть человъкъ, который подписывался — Убей! И подписывался съ чудеснымъ росчеркомъ! Я видълъ людей съ отмътками: Змій-Зміевичъ, Гнусъ, Гнида, Плевокъ-Божій!

Я не выдумываю. Я знаю.

— Откуда, зачъмъ они, эти?! Сіяеть казначейская лысина:

— Эхъ, дружище! Люблю диковинки! Заявились вчера, сняли у меня антресоли на недъльку. Представленія будуть дълать, ка-ба-ли-сти-ку! Да гдъ-то багажь застряль. Народець занятный, со всего свъта. О, кабайль... еро! Ффу-ты — ну-ты!

А она кто же, мъдноволосая Аргентинка? У ней

вороньи глаза, и зубки, какъ мелкій жемчугь... Ар-

гентинка, а носикъ... пуговкой!

— Что? Гадалка!

Да, она — гадалка. Она знаетъ конецъ войны.

— Она, понимаешь, знаеть . . . зна-еть! — чмокаетъ казначей загадочно. — Голова мутится... При-липла и прилипла, навязалась: «я такъ уста-ла... а у васъ туть такъ ти-хо!» По-русски не понимаеть, а такъ, на пальцахъ... Наволокла ликеровъ... Говорить, шельма: «о, кабайеро!» Ффу-ты — ну-ты!

Пътухомъ ходить казначей, даже розовымъ масломъ пахнетъ. Показываетъ гостямъ пермскіе мъха, про сибирское золото, про уральскіе камни плететъ нескладно. Хватаетъ Аргентинку за золотые пальцы:

— Потдемъ, мадамъ Кабайльеро, за золотомъ! Накупимъ въ Ирбитъ соболей-горностаевъ, ффу-ты, ну-ты!

— О, кабайеро! О, кабаллеро!

Все крутилось... День, и еще день — въ чаду. Они не уходили, эта экзотика. Или и уходили? Не знаю. Была старка, озорная старка «высокаго букета». Отъ нея яснъють глаза и видять дали. Она приводить съ собой глушь и сырь дубовыхъ лъсовъ и пущъ, старые замки, охоты-пиры пановъ, дъвичьи руки-ленты, турьи чаши, зовы роговъ далекихъ, костры въ черныхъ ночахъ, золотомъ шитые кунтупии, береты въ самоцвътныхъ камняхъ и перьяхъ... и музыку!

И ее, конечно. Слышенъ хрипучій голосъ ка-

значея:

— Играй-играй, Яшка... играй веселъе!

Вонъ ужъ и музыканты сидять въ углу... Представьте-тъ же, что въ веселомъ саду, въ пропыленныхъ акаціяхъ! Колченогіе, въ рыжихъ фракахъ, съ оттопыренными ушами, красными оть натуги. же туть страннаго! Музыканты веселыхъ домовъ и баровъ всегда тъ же, подъ всъми широтами, какъ затертый трактирный пиджакъ, какъ похоронные молодцы въ імлиндрахъ... — кабацкая терпкая подливка!

— Играй-играй, Мошка... играй веселье!... Играють до визга весело. Черный страусь летаеть подъ потолкомъ, фалда казначейская хвостомъ вьется. Звякаеть Итальянець брелоками, кажеть грязную рубаху изъ-подъ малиноваго жилета. Только Грекъ усомъ въ стаканъ ловить.

— Гей-га! — визгъ цыганскій голосомъ Аргентинки.

Валится казначей — не казначей, — хрипучая перина на диванъ:

— Ффу-ты — ну-ты! . . З-зу-ди! Маису! Опять зудять-томять скрипки — несуть ду-шу въ просторъ нездъшній. Все плыветь, все колышется въ томныхъ звукахъ «Молодого Маиса» . . .

Вы знаете этоть танець... въ страсти котораго пахнеть тлѣномъ? Танецъ похоти истонченной, не желающей достиженій. Танецъ все испытавшей плоти, которая жаждеть смерти, какъ наслажденья! Танецъ совокупившихся эмъй на трупъ! Да, это гнусный танецъ безсилія и... неутолимой страсти, истомный вопль оголтъвшаго человъчьяго стада самцовъ и самокъ...

Они плясали, умирали отъ наслажденія, эти змъи... Теперь я до яркости сознаю, что томило-мутило меня тогда, шептало моей душъ: «готовься, скоро». Но это томленіе покрывалось явью. Уже тогда я — знало! Знало — и ораль вмъстъ съ лысиной казначейской:

— Зу-ди! брраво!

Аргентинка юлилась съ Итальянцемъ... свились, какъ змъи, въ истомномъ, погружающемъ въ нъгу танго... безоглядно несущемъ къ смерти. О, этоть сладостный гной касаній! Порою мив становилось жутко— до тошноты, я закрываль искушающіе глаза, пытался забыть настоящее, порывался про-пасть куда-то... И... пропадаль. И тогда — тогда плыла на меня въ этихъ томящихъ звукахъ панорама...

..... Душно. Пахнеть теплой лагуной, иломъ, апельсинной коркой. Подымаются небывающія пальмы въ ліанахъ, бананы-столбы съ листьями въ добрую лодку. Парная, душная оть гніющихъ ра-

стеній ночь. Душная Аргентина... Вереницы, вереницы людей нездешнихъ. Это все хозяева стадъ тысячеголовыхъ... Оть нихъ навозомъ несетъ, степями. На пальцахъ — слепящие корунды, брилліанты, какъ чечевица. Въ красныхъ галстухахъ — изумруды-эмфиный глазъ. Красной искрой вспыхиваютъ сигары Гаванны. Висять туманные шары-жемчуга въ деревьяхъ... Похаживаютъ въ цилиндрахъ, важно, губастые широкобедрые негры въ бълофланелевыхъ костюмахъ, съ пунцовыми розами въ петлицахъ, съ золотыми набалдашинами на палкахъ, водятъ ищуть сметанными бълками, пахнуть конюшнями и сигарой, — думають туго свое, ночное. И тысячи, тысячи Аргентинокъ выкручиваются подъ молочными шарами, эмъями обвивають губастыхъ негровъ, прижимаются къ брюхамъ скотохозяевъ, заглядываясь мутнъющими, истомными глазами на брилліанты, захлестывая шелковыми хвостами, заливая удушьемъ банановъ и ванили...

- ...Воть оно, обезьянье съмя, плевокь Божій!
- О, кабаллеро, о, кабайеро!

Бредъ... Озорная старка! Она, или это вино въ кувшинъ съ печатью сургучной, это «дътское дыханье», — вдвинули въ комнату съ краснымъ, привычнымъ поломъ пріокеанскую Аргентину, съ летающими огненными жуками, вспыхивающими отъ страсти — пфф-пфф?

Больше, больше цвътныхъ стекляшекъ, лоскутьевъ пестрыхъ, цвътистой фальши пьянъющаго мозга! Заткните глазъющія дырья трезвенницъ святой, проклятой жизни! Смотрить она въ меня кровавыми глазами!

— Играй-играй, Йоська... играй веселье!

— Заткните дырья! — слышаль я ръзкій, звенящій крикъ чей-то.

И воть, душистые пальцы въ кольцахъ закрывають мнъ роть, съ журчаньемъ:
— О, кабаллеро... о, кабайеро...

На меня смотрить, топить въ себъ — Аргентинка... Нътъ, — акула. По-собачьи смотритъ, зубка-ми-гвоздиками. Акульей пастью въ крови — смо-тритъ, — мелкой костяной пилкой. О, какіе чарующіе глаза — зеленоватых в морских глубинъ! Какое атласно-бълое брюхо — шея! Сожри, распили костяною пилкой!

Она тянется, тянется вся ко мнѣ, глазами пьянить меня, протягиваеть къ губамъ бокальчикъ...

— Сами настояци... барліанть! — падаеть съ потолка голосъ.

Съ неба — голосъ! Ахъ, это сонный чревовъщатель... Что за милюга-парень! Прямо — дядюшка водевильный. Я вижу горяще глаза Итальянца, крутящеся волосатые пальцы... Ого, ревнуеть? Это очень занятно... Отелло въ пестромъ жилетъ, съ по-хабной панорамкой! А кто же она, изъ какой пьесы, какого репертуара? Карменъ... Юлія... Дездемона... или, какъ это... еще міровая склока...? Прекрасная Елена! Маргарита!.. Всё вмёстё же, чорть возьми! Всё вмёстё! Бабій миражь тысячелётняго человечества, упершійся вь... Аргентинку!

Ö, ты напоминаешь Клеопатру, Юнону, Беатриче... даже Минерву! Она ничего не знаеть! О, скромница! Она, артистка, — и не знаетъ Беатриче! И лучше! Оставимъ наивность прошлаго пустель-гамъ-поэтамъ. Это они навязывали Пенелопъ многовърныхъ, ожидавшихъ мужей годами... Это они болтали, что бываеть любовь до смертнаго часу! Не понимали они толка въ изумрудахъ и корундахъ, въ ароматахъ банановъ и ванили... Не знали они, младенцы, какъ чудесно воняеть человъчьимъ стойломъ!

Она смъялась, прекрасная Жанна д'Аркъ... Я, конечно, тогда ошибся... Конечно же, Аргентинка! Говорилъ, что красота ея всемогуща, что она могла бы совершить величайшій подвигъ... напримъръ — Юдифи! или хоть Монны Ванны... Она могла бы сдълать гораздо больше, чъмъ всъ пушки міра... Если бы она была русской крови! Если бы я былъ поэтомъ — написалъ бы о ней величайшую поэму!

Какъ чудесно она смѣялась! Мой языкъ казался мнѣ мужичьимъ, а она такъ прекрасна!

Я пью — чокаюсь съ нею, съ Грекомъ, съ сеньоромъ Казилини. Въдь мы всъ братья, бъемся общей рукой за правду...

Кричить-скрипить казначей:

— Брось, капитанъ, антимонію съ масломъ... Время — деньги!

Лысина казначея крутится надъ столомъ, — тасуетъ карты! Что же тутъ настоящее? Что не бредъ? Эта лысина — настоящее, это изъ Перми. И это зеленое сукно . . . А эти, эти?!

И опять голось — съ неба:

— Вазмытэ, напрымэрь... циво это?

И эти, запропавшіе, золотые у казначея — подлинные, его, или . . . какъ? И Грекъ высыпаеть золотые! Фу-ты, какая пышность! Почему же нътъ дожа венеціанскаго? Что еще нужно, какого вина теперь, чтобы дожъ явился? Да гдъ же суть? Почему Итальянецъ похожъ на пса, даже стучить зубами?

— О, кабаллеро... о, кабайеро!

Я вбираль въ себя Аргентинку, ея атласно играющую шею, мъдные волосы и акульи зубки. Сожри! Распили костяною пилкой!

Что я кричалъ?... Да, я кричалъ казначею, что все это ложь, сплошь подд'влка, марево, мгла, туманъ...

— Марево! марево! марево!

Они смъялись. Смъялась даже пермская лысина простака-болвана, у котораго таяли золотые. Грекъ подслъповато мигалъ гладившей мою руку Аргентинкъ, тянулъ сонно:

— Сами настояци барліантъ...

Казилини передернуль карту, но его поймаль казначей и — странно — не разсердился! Только загребъ все золото подъ себя, стукнулъ кулакомъ и сказалъ твердо, молодчина:

— А теперь играй весельй!

И Казилини не разсердился. Всъхъ размягчила старка.

— Я не катель вамъ наклядка! — кричалъ Итальянецъ. — Я катель показиль мадамъ Мари нови наклядка!

Да кто же они? — спрашивалъ я себя. — Пермь, лысина — это върное, наше . . . Но эти, эти? . . .

— Марево — и все туть! — весело хрипълъ ка-значей. — И война, капитанъ, и всъ твои ужасы марево! Настращался въ своемъ «гробу». А ты пей-плюй, не пужайся! Пей, главное дъло... Мадамъ Кабайльеро, правильно?

И вдругъ...

— Война скоро кончится, обязательно!

Она сказала? Аргентинка?! Она, такъ по-московски: «обязательно»!? Такъ что же, наконець, это?! Почему — Аргентинка, акульи зубки, духота банановъ и ванили?!

Нъть, я сброшу эту наваду! Я хватиль по столу кулакомъ и крикнулъ въ этоть туманъ проклятый:

— Да кто же вы, наконецъ?! Здёсь зачёмъ, на красномъ полу, въ наршивомъ городишкъ?! У васъ брилліанты и золото! Изумруды — зміный глазь! Къ чорту бананы и Аргентину, все ложь!

Они — смѣялись! Она, прекрасная, щекотала мнъ шею теплою мъдью-шелкомъ, шептала страстно:

— О, кабайеро!

Изъ ея морскихъ глазъ глядъла на меня душная Аргентина, ночная тайна летающаго огня, влекущая счастьемь къ смерти.

— Баришни... сладки товаръ... ряхат-лукумъ! — сказалъ Грекъ. — Война, а тутъ ты-хо... и ми туть... ты-хо!

И опять глухой голось — съ неба:

— Война ... скора ... фи-фи!

И сонный Грекъ перекувырнулъ что-то пальцемъ.

И Казилини сказаль, потирая обезьяныи лапы: — Фи-фи!

И ръзко свистнулъ.

Быль это мигь блаженства: глаза ЕЯ, льющіе змъиныя чары всъхъ женщинъ міра! Такой она мнъ явилась...

Было ли это отъ ея «ликёровъ», которые стряпалъ дьяволъ, или это бурно вернулась изъ моего «гроба» покинутая тамъ сила, — не знаю. Великій Соблазнъ выбралъ себъ личину — Аргентинку! Она разняла меня по суставамъ, ядомъ меня поила, и . . .

странно, я чувствовалъ въ ней родное. Кровь ея рвалась къ моей крови, и тогда... тогда я почувствовалъ въ себъ — звъря. Она могла бы вести меня за собою на что-угодно! Она могла бы стянуть въ себя всъ безцънные камни міра, къ ногамъ повалить всъ царства! Сгноить и растлить живущаго въ міръ Бога!

Лихо кричала Аргентинка-вакханка:

— Гуляй, кавалеръ! . . . трын-трава!

И этоть выкрикъ изъ публичнаго дома, этотъ бульварный выплевокъ — «кавалеръ» — въ ея губахъ, искривленныхъ нѣгой, былъ тогда для меня, какъ влюбленный шопотъ. Хотѣлъ бы я, чтобы это повторилось. Нѣть, не надо. То были впервые крикнувшія во мнѣ «нѣдра». Они вспучиваются въ войнѣ, въ революціи и ... когда отравляеть самка... Надо убить инстинкты, иначе все небо — къ чорту! Человѣку надо уйти въ пустыню и ... вновь выйти!

— Гу-ляй! — оралъ ошалъвшій казначей, хватая ее за пальцы. — Она гадалка! Ей ни-чего не жалко!

Да, гадалка. Недавно нагадала она *тамъ гдъ-то*, и ловко мы *погасили* двѣ батареи нѣмцевъ и *стерли* три батальона стрѣлковъ-баварцевъ . . .

— Гей-га! Лихо?!

Играли ея акульи зубки.

— Гуляй, кавалеръ! трын-трава!

И она выпила золоченый бокальчикъ старки.

— Всъ-то мы пор-рядочные скоты! — возгласилъ казначей, сгребая золотые, не считая. — А посему . . . прошу ужинать! Вогъ и солнце!

А солнце уже покачивается надъ заборомъ — вышло изъ-за тумана.

Столъ, — умереть можно. Какъ работали акульи зубки! Какъ рвалъ мясо зубами Итальянецъ, и чавкалъ салатъ-оливье подбодрившійся Грекъ! Какъ сердито бурлилъ розовый медъ въ стопкахъ, смачно булькало въ глоткахъ! славно игралъ хрусталь розовымъ солнцемъ утра! Какъ кричали пътухи по всему городу, и, — странно, — тревожно лаяли собаки!

— Стойте... лають собаки!... во-ютъ... — настороженно сказаль казначей. — Вы слышите?... Какъ-будто, гремять повозки?... Гремять повозки...

И вдругь, въ окив — вихрастая голова парнишки и рука съ бумажкой:

— Телефонограмма! нъмцы!...

Какъ бомбу бросилъ!

Казначей — мѣшкомъ въ кресло, посинѣлъ, налился... Иностранцы икру въ ротъ вмазываютъ, какъ шпатлюютъ... А я... Прорвались нѣмцы? Бредъ, марево! Пошутилъ парнишка...

И взорвалась бомба!

Ахнулъ казначей, рванулъ у ворота, хрипнулъ:
— Теле... фоно... «Эвакуироваться... немедленно?... направленіе...» Не понимаю... Что такое...?

Онъ трясъ шумажкой, водилъ глазами, вздувался жилами... И вдругъ, выпучивъ глаза, крикнулъ:

— Про-дали! Измѣна!! Вовъ! . . . вовъ!! . . . вонъ, скоты!! Всѣ вонъ!!

И пустилъ салфеткой въ глазъвшаго на него Грека.

— Сюма сасель... — развелъ Грекъ руками,

повелъ усомъ.

— Xа-ха-ха-ха... разсыпалась Аргентинка смъхомъ.

Черезъ марево мнѣ блеснуло. Нюхомъ животнаго важное я постигъ, — близкое смерти. Остріемъ долгимъ-долгимъ, вытянувшимся оттуда, гдѣ плясали въ крови, пронзило сердце... Я уже рвалъ проклятую паутину, пытался схватить скользившую отъ меня тѣнь тайны. Она была здѣсь — я зналъ.

— Пьянъ... ничего не соображу... — путался казначей съ салфеткой, теръ кулакомъ глаза. — Капитанъ. что же это?!...

Я уже разорвалъ паутину, хваталъ ускользавшую отъ меня опредъленность... Казначей окатилъ голову изъ графина, графинъ — въ окно.

— Капитанъ, дъйствуй! Нъмцы въ тылу, а у ме-

ня на рукахъ милліоны, резервъ!!...

Я впивался глазами въ Аргентинку, вытягиваль изъ нея тайну...Я поймалъ-таки заметавшійся мышью взглядъ и крикнулъ этимъ, ужъ слишкомъ спокойнымъ комедіантамъ:

— Документы!!

Это быль для нихь, очевидно, привычный окрикь. Они поднялись съ сознаніемъ важности порученнаго имъ дъла, какъ бы съ сожалѣніемъ къ моей неосвъдомленности.

Документы?!

У нихъ были чудесные документы, съ печатями всякаго сорта, даже изъ легкоплавкаго металла по холстинкъ: и высокой гарантіи фотографическіе снимки, и спеціальные шифры, и несокрушимые ат-

тестаты. У нихъ было самое изысканное куррикулюм-витэ, у этой человъчьей пъны или... сути? Это были герои, мученики, подвижники... Они отдавали себя за... родину!

— Вы?! мъщанинъ города Минска?!! — крикнулъ я Итальянцу. — Города Минска, и . . . Италь-

янецъ!!?

Ну да, самый подлинный Итальянецъ, до грязныхъ ноггей, въ которыхъ есть еще и теперь слъды макаронъ съ помидорами, пожиравшихся имъ въ Неаполь, въ самомъ настоящемъ Неаполь, на скать Монтэ Кальваріо, гдъ извъстная Віа Рома. Ну что?! Весь Неаполь у него въ жилетномъ кармашкъ, на цъпочкъ, гдъ похабная панорамка. Вы понимаете, что я думаю? А этотъ профиль высокой крови! А это звучное имя: Чезарро-Джіузеппе-Паллавичини! Вы понимаете, что я думаю? Но если этого мало, — онъ — понимаете!— жертва!! да-съ, жертва проклятыхъ нъмцевъ, выходецъ съ того свъта, возставшій изъ гроба— «гамбургской плавучей тюрьми», — если сеньоръ желаеть! Онъ, —сверхъ того — это вы поймете потомъ, — гражданинъ города Бостона, того Бостона, который — пока — по ту сторону океана! Вы понимаете, что я думаю?! Онъ умъеть глотать и сажать — «куда нужно»! — шпаги, играть ножомь, какъ кореецъ, ловить на веревку петлей, изготовлять страсбургскіе паштеты и служить об'вдни навыборъ: въ Москвъ, Неаполъ и . . . въ Берлинъ! Вы понимаете, что я думаю? Ну что?..

Онъ острилъ, какъ уличный мошенникъ, собирающій болтуновъ-зъвакъ. И ... онъ пугалъ меня, этотъ тугоносый итальянецъ невъдомой крови, гражданинъ всего міра. Потомокъ Брута, Нерона, Пилата, Цезаря? ... Гарибальди, быть можеть, его же

корня? Все можеть быть. Вътвисто человъческое древо... охъ, вътвисто! Онъ смотрълъ помутнъвшими глазами, уставшими отъ тысячелътій міровой жизни. И галстукъ его усталь, и жучокъ въ галстукв...

Всѣ имѣли первосортную броню — до крестика

вь изумрудахъ, подарка изъ... Ка-би-не-та!

А тоть, съ дремлющими усами? Этоть, пожа-

луй, проще... Чревовъщатель и рахатъ-лукумщикъ для фронта. Яснъе? Ну, поставщикъ сладкаго товара... Еще яснъе?! Но кто же не знаетъ «сладкаго товара»?!, «живого барліанта»?!! Н'ть, не только. Онъ — импортеръ галлипольскаго масла, строитель храмовъ на Старомъ Авонъ, житель Пирея, Тимосъ Чирикчіадись, почетный гражданинь Кальвадоса, — а это у береговъ Ламанша, — за то, что онъ полезный ло-шадникъ, а тамъ извъстныя нормапдскія лошадки, — почетный членъ Промышленной Палаты въ Александріи, почетный членъ Арміи Спасенія въ Бирмингамъ, онъ же и корреспонденть торговаго отдъла «Таймса», онъ же . . . Нътъ, не помню.

А она, одуряющая глазами и ванилью, Аргентинка? Она... Она дарила свои ночи... принцамъ!

— Это зе барліанть... розови барліанть, тисяна карать! Циво это?! — покачаль пальцемь Чирикчіадисъ.

Она была первосортнаго мяса, дочь Руси, натянувшая душную кожу Аргентинки. Она — великая гадалка-артистка — между прочимъ. Опа даритъ людямъ счастье.

- Ну да, изъ Тулы. А пріятно сказать: о, кабаллеро! Это не воняеть самоваромъ.
 - О, конечно, сеньора!

Тула пустила ее на свътъ Божій заманчивымъ пряникомъ съ ванилью.

Меня словно встряхнуло «Тулой», и я нашелъ

ускользавшую отъ меня опредъленность.
Казначей... Его потрясли эти печати и миссіи «высокой цъли». Онъ принялся подтягивать брюки, утончиль голось и даже, чудакь, засыкаль. Онъ сунуль Казилини телячью ногу и извинился, что теперь онъ уже не хозяинъ, что дъла требують отъ него, — сами видите, — величайшаго отреченія ... Онъ едва стоялъ на ногахъ, хваталъ меня за руки и молилъ не покидать его «въ такое отчаянное мгновеніе ока». Плелъ что-то о депозитахъ, резервахъ и неотправленныхъ въ срокъ «критическихъ запасахъ». Онъ метался по комнатамъ, плевался на ошалъвшихъ чиновниковъ, погружавшихъ на подводу связки бумагь и ящики, звониль въ онъмъвшій телефонъ...

Я искалъ Сашку гонцами по городу, — не было ни Сашки, ни машины. Наконецъ, удалось связаться. Съ «узловой» отвъчають: гонять эшелонъ за эшелономъ, и мои саперы еще ночью прошли на Д. Въ городъ ни одной машины: въ сторонъ отъ боль-шого тракта, затишье, заводь. Городишка жужжить, какъ разбитый улей. Два дня, какъ прорвались нъмцы, — и гдъ-то близко!

Это уже не марево... Это подлинный пънный валъ кроваваго прибоя, и мы — на немъ. Вонъ онъ, щепки!

Мимо оконъ несутся въ гулъ горы человъчьяго скарба, который еще кому-то нужень, — пузатыя перины, ликующіе на солнцѣ самовары, звонко смѣющееся стекло, гогочущіе гуси, — ихъ и теперь не котять отпустить на волю. Всѣ вмѣстѣ — куда-то къ чорту! Ревуть и свистять радостные мальчишки: — новое! Воють и причитають сорванныя съ уклада бабы, спасающія свое племя въ тряпкахъ. Сіяютъ тазики, въ зайчикахъ, ворчить жельзо въ колесномъ грохотъ, — все летить, движется и ползеть, и только одив мудрыя коровы тянуть назадь, упираясь рогами въ камни. Все то же, — переселеніе народовъ . . . Пора привыкнуть.

Казначей-таки погрузиль подводу. Пошаты-

вается — вопить:

— Да гдъ же твоя проклятая машина? Ты же пойми! При мнъ чемоданъ съ милліонами! Не могу же я довъриться подводъ! Въдь я присягу...

Онъ, чудакъ, еще трепыхался на послъднихъ винтахъ, — его еще не сорвало! А мнъ . . . мнъ было странно покойно, безразлично. Не хочу никакихъ валовъ и скатовъ...

— Мит теперь все равно, казначей. Не все ли равно, гдт видть рожи! Къ чему му таться? Стать гражданиномъ хоть Ямайки, или уйти къ Маори... Можно и тамъ найти Тулу. Все только призракъ. Всюду есть тихія пичуги, и вездъ онъ спрашивають съ укоромъ: «я-не-та-ка-я»? И върныя, хозяйственныя индюшки, поглядывающія зеркальнымъ глазкомъ къ небу: дождя не будеть?

Хотълось крикнуть:

— Да пожжеть васъ сърнымъ дождемъ, обезьянье съмя!

Удушьемъ стала для меня человъчья осклизь — плевокъ Божій! Гдъ-то еще остались чистыя плотички... Что толку! Придеть череда— разбухнуть, натянуть акулью шкуру, вправять въ хайло костяную пилку и выправять — для хода — первосортную броню, съ печатями — гдъ нужно. Все — подлый призракъ, все переливается въ бредъ-правду...

—Теперь мив все равно, казначей.

Онъ не унимался, чудакъ; онъ даже топалъ и грозилъ кулаками:

— А родина?!! Это же преступно!...

— Родина есть — прекрасное слово, казначей! Она — въ хрестоматіяхъ и на устахъ поэтовъ! Какіе же мы съ тобой поэты? Родина... это — отдача жизни. Родина... это любовь до смерти!

— Но ты же герой! ты въ «гробу» силвлъ за эту ро-дину! Я — пьянъ, но чувствую долгъ... милліо-

ны надо спасать, для родины!

— Родина-родина-родина! . . — крикнулъ я, готовый его ударить. — Что есть родина, казначей? Кто изъ насъ знаеть это?! Это толь-ко сло-во! Молчи. я знаю! видълъ, казначей!! Тамъ, и тамъ! Что есть родина, казначей!! Спроси-ка этихъ! Аргентина въ Тулъ, Бостонъ въ Минскъ, Неаполь въ Гвя далквивиръ, а Кальвадосъ... въ Самаръ!

— Ты — пьянъ, старина! — плакался казначей. размахивая чемоданом. — Это отъ «дътскаго дыханья»... Ну, а эти что же? Милорды, а вы что

же не въ дорогу?!

А что «милордамъ»! Они уже закусили. Они стальные. Они даже не дремали. Аргентинка съ Грекомъ играли на колъняхъ въ «двадцать одно». а Итальянецъ лежалъ на диванъ, какъ въ пансіонъ. и курилъ гаванну.

ППипълъ казначей мнъ въ ухо:

— Да ужъ не мазурики ли они, капитанъ...

— А документики-то, «высокой цѣли»! — Всякіе документики бываютъ... Что-то они тово! Сняли у меня почему-то антресоли...

— Какъ у оффиціальнаго лица, казначея! Туть прочнъе и ... безопаснъй ...

Казначей выпучилъ рачьи глаза, не понимая.

Дались ему его милліоны!

— Не къ милліонамъ ли подбирались, да сорвалось! Для меня это совершенно ясно! Ясно!!

Я пытался нашупать его мысли:

— A если у нихъ больше твоего, казначей? Если это торговцы самымъ ходкимъ товаромъ... кровью?!

Казначей выпучиль рачьи глаза, — не по-

няль! — и сказаль плаксиво:

— Нъть, тебъ надо проспаться... Стой! Теперь все ясно! Это *ихъ* ловушка! это они нарочно угнали машину... туть нечисто!

И онъ кинулся на Итальянца:

- А вы что же?! Съ нъмцами въ «желъзку» хотите, «новой наклядкой»?
 - А-а-а... зъвнулъ въ него Итальянецъ. А Грекъ отмахнулся, сонный:

— Ми... истрюкци.

— Поважай на подводъ, казначей... спасай свои милліоны... — сказаль я одуръвшему казначею. — Не придеть машина — останусь. Мнъ теперь все равно.

Для меня какъ бы не существовало сути. Не калейдоскопъ ли все это, арабески изъ пустяковъ сте-

клянныхъ?

А ну, провъримъ!

Я прилегь на кушетку и поманиль къ себъ Аргентинку. Она подошла охотно.

— Ну... — сказала она томно, колыша грудью.

— Прекрасная Аргентинка! — сказаль я ей, подавляя желаніе посадить ее на кушетку. — Вы —

изъ Тулы... Тула есть ро-дина! — крикнуль я, овладъвая собой.

— Какъ это... скучно! — протянула она игриво.

Тогда я въ бъщенствъ крикнулъ:

- Для васъ... что есть родина?!
- Тула! сказала она задорно.
- Къ чорту игру! крикнулъ я, сдерживаясь, чтобы не ударить въ накрашенныя губы-поцълуи, и увидалъ наклонившуюся ко мнъ лысину казначея.

Онъ слушалъ, навостривъ ухо. Она впивалась въ меня позеленъвшими, ръшительными глазами. Я выдержалъ этотъ властный натискъ, въ которомъ была и отдающая себя страсть-ласка, и угроза... смертью.

— Я знаю...—Да, я зналъ это нюхомъ животнаго и поручился бы головою!—Я знаю, что вы... про-да-ете родину! Родину продаете!! — крикнулъ я ей въ лицо, выхватывая ноганъ. — Я могу васъ убить! И долженъ!!.

Я впивался въ эти глаза зеленоватой воды... Они не моргнули, не загорълись, не погасли. Они... ласкали! Никто не пошевельнулся. Грекъ дремаль надъ телячьей ногой. Итальянецъ куриль сигару. Не бредъ ли это? и это ли я сказаль? Это. Я видълъ по испугу казначея: онъ открылъ роть и показаль золотые зубы. А она, Аргентинка?.. Она смъялась акульими зубами!

Она сказала-швырнула:

— Проспись, мальчикъ!

Я завертълся на острів, куда швырнула она меня этимъ — «проспись, мальчикъ!» Этимъ циниз-

момъ или ... геройствомъ? ... «Тула» выдёлала таку-ю!! Она убила меня. Смёхомъ акульихъ зубовъ и злобой въ глазахъ — убила.

Во миъ шевельнулось, укусило меня сомиъніе.

Я не ошибся тогда. Я же видълъ, какъ она выла и извивалась подъ петлей, какъ болтался ея шелковый хвость акулій, хвость въ ключьяхъ! Это было потомъ. Но это было!

Да, сомнѣніе меня укусило. И все же — я *зналъ*, *кто* это. Въ это время взрывались мосты на тылахъ нашего фронта.

Волной грязи хлестнуло въ меня, и я крикнулъ:

— Прочь, человъчья падаль!

Она смърила меня нагло:

— Тише, малёньчикъ!

Почему я не убиль ее въ этотъ мигъ? ...

Во миъ взметнулось два чувства: похоть и отвращеніе. Столкнулись съ такою силой, что я обратился въ нуль. Я лопнулъ, сложился, какъ шапоклякъ съ удара.

— Пропадемъ! — кричалъ казначей, — что дълать?!...

Онъ былъ положительно великолъпенъ. То его вскидывало на гребень, и онъ закипалъ пъной: топалъ на невозмутимыхъ «иностранцевъ», билъ себя въ грудь и отдавалъ кому-то распоряженія. То проваливался въ пучину: падалъ въ кресло и бъшено растиралъ лысину салфеткой. Онъ даже облачился въ мундиръ со шпагой, нацъпилъ ордена и то и дъло высовывался въ окошко, словно ожидалъ невъсту.

Шумъ въ городкъ затихалъ. Пробило полдень. Но казначей не терялъ надежды: уложилъ въ корзину закуски и бутылки и наказалъ Зоськъ хранить квартиру.

— На антресоли! — **скомандовал**ъ **он**ъ гостямъ лихо.

Они и не пошевелились.

— Мы сохранимъ вамъ берлогу, дуракъ лысый! — крикнула Аргентинка.

Казначей поперхнулся, присълъ и прикрылъ лысину салфеткой. Все перевернулось вверхъ ногами. Сейчасъ наплюютъ намъ въ глаза...

— Вонъ отсюда, скоты!

Я ихъ выгналъ, пригрозивъ ноганомъ. Этотъ языкъ они хорошо знали.

Слышимъ — идетъ машина, реветъ сиреной, трерожно кашляеть: клёк-клёк-клёк...

— Спасеніе! — завопилъ казначей, — ура!

Подкатилъ Сашка подъ окна, завылъ сиреной. Круглая морда — свекла, фуражка на затылкъ, на груди бутоньерка съ жасминомъ... Не шофферъ — шаферъ! Оправдывается-бормочетъ:

— Виновать, ваше вскородіе... Невъсту маленько съзвакуироваль...

Невъсту! Эти, широкоскулые!.. Какъ макъ. горить отъ стыда: всегда былъ исправный.

— Рвуть мосты по тыламъ... торопиться надо...

А?!! Тенерь — торопиться надо! Погрузиль я своего казначея съ чемоданомъ... И развезло же его, — какъ грязь! А фигура... — пузырь въ мундиръ, при орденахъ. Крикнулъ Сашкъ:

— Впередъ! Часъ сроку!!

И засверлили!..

Съ дороги! все съ дороги!! Гу-гу! клёк-клёкклёк!..

Полетъли возки въ канаву. Коровьи хвосты, и визгъ, и ругань, и пыль такая—пожаръ! Несокрушимъ затылокъ, моя опора — успокоеніе, недвижны скулы: сиди покойно. Собака ли визгнеть — тряпкой летить въ канаву, возъ ли повалится на крутомъ -кривомъ поворотъ, баба заверещитъ, прихватывая ребенка, — недвижны скулы, несокрушимо вдумчивъ затылокъ; развъ только круго вскраснъютъ уши...

Съ дороги! все съ дороги!! Гу-гу-у!..

Казначей о бочокъ бъется, разинувъ роть: разжаль ему золотые зубы вихрь-вътерь. Задохся, козырекъ натягиваеть, взмолился:

— Пронеси, Господи...

Въ ногу мою вцёпился, посинёль съ нагуги... Мчить меня бъщеный валь на гребнъ, лихъ его гонъ желъзный, летятъ со щебнемъ думы за верстовые столбы... — все ясно. Вонъ оно, стадо пасется, не зная ни тъхъ, ни этихъ. Вонъ она, кроткая даль, — всъхъ принимаеть лаской. Мчится на насъ припорожная береза... Прощай!.. Прощай, старикъ... Зажимаеть уши въ ужасномъ ревъ ...

Съ дороги! все съ дороги! Гу-гу-у-у-у . . . Все позади осталось — переселение народовъ. Пустыня-даль впереди, вольный вътеръ...

Тревога? Затылокъ дрогнулъ... Ходу сбавляетъ

Сашка, остановилъ машину...

Да что такое?!

Смотрить на меня — Сашка не Сашка: сърое липо бормочеть:

— Бензинъ кончается...

Разстроился съ опозданья—въ квартирѣ у казначея запасный бидонъ оставилъ! Словно ударилъ въ сердце.

— Назадъ!

— Никакъ не хватить. Больше двадцати версть покрыли, а бензину и на десять не будеть, безъ подъемовъ...

И машинъ позади нъту. Что же дълать? И вдругь казначей:

— Есть! Знаю!! Гдъ-то госпиталь долженъ быть.

повороть налвво...

Смотрю на него: совсѣмъ пьяный, и глаза побѣлъли. А онъ свое:

— Въ семи верстахъ, въ сторону... госпиталь. какъ-будто...

Путаеть что-то: ассигновки какія-то, докторь на машинъ пріъзжаль, въ карты зваль...

- Есть поворотъ, —подтверждаетъ и Сашка. Въ лъса поворотъ будетъ.
- Тамъ-то и госпиталь! Въ лъсахъ экономія... какъ ее? . . «Звишки» либо . . . «Звашки»!
- А гдѣ госпиталь, тамъ и бензинъ. А надо торопиться,—настаиваетъ Сашка. Кругомъ шпіоны напущены. Штабные на станціи говорили: важные какіе-то усклизнули! Наши, будто, агенты были...

Ахнулъ казначей. Схватилъ меня за плечо, задохнулся:

— Вотъ... говорилъ!.. Ясно!.. Тихое-то мъсто...

Для меня все теперь было безразлично. Мнъ открывалась тайна... Помогать жизни?... Я те-

перь достаточно подготовленъ, чтобы не творить иллюзій ... А этоть лысый ...

— Предпринимай же! — оралъ на меня казначей. — Нельзя оставить!

Сашка смотрълъ болваномъ.

— Иди и возьми! — крикнулъ я казначею.

Постояли-пождали. Уголъ глухой, въ сторонъ отъ большого тракта, лъса. Ясно одно: надо достать бензину.

Доважаемъ до поворота. Столбъ. Мощеная дорога въ лъсъ, и на столбу стрълка: «Завилишки».

— Вспомнилъ, — говоритъ казначей. — Это и есть то самое, «Завилишки». И тамъ-то госпиталь!

Ѣдемъ наудалую. А если эвакумрованъ? А не все ли равно! Длится, длится кошмаръ проклятый... ставитъ все новыя декораціи. Вотъ и они, какія-то таинственные «Завилишки»...

Лѣсомъ дорога, сосной. Сосны мачтовыя, подъ небо, красавицы. Паркъ въ природъ. Сквозитъ корридорами палевый полумракъ. Сойти съ машины и итти, итти, пока силъ хватитъ. Итти, не думая, забыть все. Лечь и уснуть въ живомъ храмъ, подъ стуки дятловъ, прислужниковъ красноштанныхъ, въ траурныхъ мантіяхъ, подъ тихія золотыя ленты солнца. Пахнетъ ладаномъ теплымъ, подъ сводомъ дремотно гудитъ органъ, колокола чутъ слышны... Зачъмъ я не былъ здъсь раньше! Прощайте, старыя сосны... прощайте! послъднюю пъсню играй, органъ! послъднее цълованіе... Смертъ идетъ къ вамъ въ огнъ.

Если бы тамъ остаться! Тишина усыпляющими глазами ворожила моей душъ, и тогда, тогда только почувствовалъ я до боли, что усталъ я смертельно, что я — не я.

Стоять дремотно-розовыя колонны, а подъ ними густой-густой мохъ, бархатныя зеленыя подушки. Я жадно смотрълъ на нихъ... Вотъ гдъ тишину-то слышно!

Охватывало лаской Великаго Покоя. О, лъсъ волшебный, сонное царство сказки!

Всъхъ охватило благостное безмолвіе. Казначей сняль фуражку и завздыхаль:

— Воля Божья. Привелось напоследокъ такую красоту увидъть... Всю жизнь о лъсъ такомъ мечталь, и всю жизнь чужія деньги считаль...

Вдемъ тихо, дорога въ ямахъ. Прохлада, свъжесть.

...Клёк-клёк!.. — вспугнулъ Сашка лѣсную глубину — тайну.

Тревогой побъжало въ бору... — и я, и казна-

чей, оба крикнули, словно отъ острой боли:

— Не нало!...

Глубь — тишина — тайна. Рябина горить въ лучъ — улыбка бора. Сырость въ лицо — оврагъ... — Человъкъ въ канавъ!..

Мчить машина — не разобрать! Эхъ, спросить бы... Время не ждеть, летимь. Втягиваеть глубина — тайна...

Стопъ!.. — Сашка остановилъ машину.

Поперекъ дороги канава, свъжая перекопка. Столбикъ съ дощечкой — «охота воспрещается», а подъ дощечкой — бумажка.

Сошли, чтобы не поломать машину, — и я читаю: О. Л. — выведено крупно тушью, а внизу помельче:

«Воспрещаю дальнъйшее слъдование на основаніи кодекса O. J. — Полковникъ» . . .

Подпись вытянулась въ неразборчивую черту и росчеркъ.

— Что же это значить: О. Л.? — спросиль я

слѣпую подпись.

— Да Окружное Лъсничество, это ясно! — сказалъ казначей увъренно. — Впрочемъ... Ну, конечно... Окружной Лазаретъ!?...

— Такихъ не бываетъ, казначей.

И вдругъ казначей странно хрипнулъ, словно его сдавили, и показалъ пальцемъ:

— Полумъсяцъ...! Полумъсяцъ сверху!!...

Да, вверху бумажки лихо былъ ві веденъ тушью красивый полумъсяцъ.

У казначея дрожали губы. Онъ впивался въ

мои глаза и шепталъ чутъ слышно:

— Неужели турки, капитанъ?.. Въдь они съ нъмцами, и это ихній полковникъ! Мы въ плъну... Конецъ, ясно.

Онъ, какъ-будто, всплакнулъ и опустился у столбика.

— Ни шагу дальше... — бормоталь онъ тревожно.—За себя не страшусь, но обязань исполнить долгь... При мнъ казенныя деньги! несу отвътственность передъ... закономъ! Ихъ надо спрятать.

Онъ растрогалъ меня, чудакъ. Онъ взиралъ на меня съ надеждой, что я укажу выходъ. А мнъ... мнъ стало странно легко, знакомо: ну вотъ, опять наплываеть марево, волшебный лъсъ начинаетъ пріоткрывать тайны... Въдь это же сонъ мой длится, а настоящая моя жизнь остановилась еще тогда, въ тъ страшныя ночи «гроба». И я — вовсе не я. Да кто же? Ну да, я, прежній, остался, конечно, тамъ, подъ этими бревнами, гдъ плясали въ крови и рёвъ. Я сказалъ:

- Какъ ты думаешь, казначей: я ли это, на самомъ дълъ? Что-то со мной творится, не понимаю...
 Онъ посмотрълъ растерянно.
- Этого еще не хватало! закричаль онъ, въ тревогъ. Нечего дурака валять! Выбираться, капитанъ, надо. Ты человъкъ находчивый, я въ тебя всегда върилъ...

Его увъренный тонъ подъйствовалъ. Я совладалъ съ собой и почувствовалъ себя въ жизни. Довольно проклятой мути! Все это — жизнь и суть. И какія туть, къ чорту, тайны!

- Бодрись, казначей! крикнулъ я. Нътъ никакихъ призрачныхъ жизней, никакихъ тайнъ! Все очень просто и гнусно, другь! Какая тутъ, къ чорту, тайна? Смотри: почеркъ идеально писарской, съ росчерками, штабной самый! Я даже и рожу этого писаришки вижу... угреватое рыло, косой проборъ... Самая настоящая суть! Видишь, «полковникъ» даже подъ рондо пущено, въ знакъ почтительности къ начальству! А полумъсяцъ... такой-то веселый серпъ! Просто игра ума! Все это, пожалуй, върно... неръшитель-
- Все это, пожалуй, върно... неръшительно сказалъ казначей. Ну, поъдемъ... Только что же такое эти О. Л. то значать?
- А не все ли тебъ равно? Охрана Лъсовъ, Окружное Лъсничество... или даже хоть бы и Оселъ Лысый?! Что мы теперь теряемъ!?

— Казенные милліоны! — сказаль казначей строго. — Но все равно.

Мнъ хотълось шутить. Я взялъ старикана подъруки и потащилъ въ машину.

— Во снъ — такъ во снъ! Выходи, всъ лъсныя тайны! Впередъ!

Вдемъ дальше. Только ужъ не мчитъ Сашка, а крутится. Дорогу будто нарочно коверкали: то пень лежитъ, то слега поперекъ, то яма. Сашка ворчитъ — пответъ его затылокъ. Останавливаетъ машину... Поперекъ дороги натянута веревка, а на ней... простыня съ клеймами: — П. Г.

Смотритъ на меня Сашка, играетъ скулами: что такое? Но теперь это было ясно, и казначей крик нулъ весело:

- Да это же бѣлый флагь! Значить, не успѣли эвакуировать и дають знать, чтобы не стрѣляли. Эхъ, лучше бы красный крестъ! А П. ... Полевой Госпиталь!
- Теперь бы бензину только черезъ полчаса на узловой будемъ! — сказалъ Сашка. — Вонъ онъ, и госпиталъ!

Впереди лѣсъ раздался, и я вижу: глухія, высокія ворота съ каменными столбами, чугунныя на нихъ вазы, и двое — съ ружьями. И тишина, сонъ . . . Прямо — волшебный замокъ.

Но... почему вдругь остановиль Сашка? А казначей меня за руку:

— Луна!! Луна тамъ... Господи... что такое... луна!?..

Смотрю и не понимаю. Вижу только: бълое полотнище надъ воротами, какъ плакать. А казначей теребить меня за руку, не въ себъ:

— Есть или нъть... луна? Что такое...?!...

А я близорукъ, не вижу... но по голосу казначея понялъ, что что-то странное... Слышу — читаетъ Сашка:

«От-дълъ... Лу-ны»!..

Повернулъ свою морду и глядить стеклянно... Ла что такое?!!

Къ чорту! къ чорту этогъ миражъ проклятый! Лурацкія шутки? . .

Я командно крикнулъ:

— Открыть ворота!

Ни шёлоха. Стоять часовые — камни. Сашка въ сирену взвыль, — завыло въ бору, завлёкало. Стоять, какъ мертвые! Прямо — волшебный замокъ.

Я крикнуль Сашкъ — впередъ! Нащупываю ноганъ, на случай... Чортъ!.. у казначея оставилъ, на кушегкъ! Э, къ чорту! Крикнулъ сфинксамъ:

— Открыть ворота! Буду стрълять!!...

Тогда одинъ изъ солдать крикнулъ что-то невнятное и вскинулъ винтовку на руку... Крикъ казначея, — и вдругъ... словно сорвали калитку,— а заборъ высокій, глухой, — и появляется... великанъ!...

Сказка...

VI

Представьте: человѣкъ, безъ малаго въ сажень и все — въ пропорціи. Матово-блѣдное лицо, черная борода-красавица, носъ орлиный, запавшіе, острые, огневые глаза-сверла. Страшно худое лицо — воскъ тонкій. Высокіе сапоги. офицерскіе штаны, боевая кожаная куртка съ полковничьими погонами, и по груди — высокіе боевые ордена. Взглядъ такой, что связываеть волю и можеть приказать все, до смерти.

Я привсталь отдать честь, — и съль, словно меня прихлопнуло. На головъ полковника быль... мъдный тазикъ! Да, — вродъ плевальницы! Какъ

шлемъ. Подвязанъ ременикомъ у подбородка. Въ рукъ — ноганъ! И этотъ ноганъ двигался, нащунывалъ насъ чернымъ, неотвоатимымъ зракомъ.

Секунды... или минуты? Это длилось...

Я смутно слышаль, какъ стучаль надъ головой дятель, какъ тяжело сопъль казначей, скрипъль кожей подушки, сползая въ ноги . . . стрекотала. — потыркивала нетерпъливо машина . . .

А ноганъ все нащупывалъ... Поискалъ — и медленно, нехотя, опустился. Раздумчиво какъ-то опустился, словно подумалъ: «мы еще поглядимъ»...

Я снова привсталь. И только хотёль сказать, какь рёзкій приказь ноганомь:

— Сидъть!

Острый, бъшеный взглядъ полковника связалъ мысли. Я опустилъ глаза. Какъ сквозь сонъ, видълъ я ужасъ на лицъ казначея. Онъ хотълъ испариться. Онъ весь словно сложился, сморщился, мутнымъ глазомъ высматривая изъ-за чемодана, и отмахивался: назадъ! назадъ!!

— Съ руля!

Какъ сталь по камню. Сашка руки съ руля: разъ-два!

Сидимъ, какъ связаны.

Смотрю, — изъ-за полковника высунулся, какъ грибокъ изъ-за пня, тощій, вертлявый, бритый... человъкъ-обезьянка, съ съроватымъ лицомъ въ кулачокъ, въ долгополомъ гороховомъ халатъ, съ синей напкой и карандашикомъ. Адъютантъ! До-синя бритая голова, узкій, заросшій лобикъ мартышки. Онъ впивается въ насъ мышьими глазками, водитъ носомъ, крысенокъ, нюхаетъ воздухъ, преданный рабъ, готовый на все. Часовые, какъ истуканы. И тишина,

тишина... Только дятель стучить-стучить да тяжело сопить казначей...

И воть, съ ноганомъ у шва, съ вытянутой лѣвой рукой, идеть полковникъ къ машинѣ. Лицо — тревожно-восторженное, какъ бы озаренное открывшеюся нежданно мыслью. Въ глазахъ — радостная тайна, своя тайна. И отрывисто, черезъ зубы:

— Ждалъ... призналъ по звуку... консонансъ! — и щелкнулъ по тазику.— Вліянія слабъють съ утра... Ихъ опыты... — подмигнулъ онъ кому-то черезъ наши головы. — напор-ролись на контр-вліянія системы полковника Ба-букина! Мы почти спасены... зависить отъ солидарности! Имъйте это въ виду! Враги не спять!! Прохоровъ!..

Его пристальный, липкій взглядъ усыплялъ. связывалъ мою волю: ложилась на глаза сътка. Писарекъ вытянулся и зачеркалъ по папкъ.

— Такъ точно, ваше вскородіе! «Враги... не

спять!»

Я понялъ. Далеко, конечно, не все. По тълу пробъжало мурашками, и сознаніе полной безвыходности связало остатки воли.

— Что же молчите, какъ мочало?!—ръзко крикнулъ полковникъ, дернувъ ноганомъ. — Рапортуйте же, наконецъ. не бабътесь! Какъ и что? Связь налажена?... Данныя мнъ подайте! Что луна? какъ?.. Я васъ спрашиваю, сношенія установлены, чорть возьми?!...

Что сказать?.. Но сказать было нужно. Взглядь полковника требоваль и грозиль. Усиліемъ воли я прорваль липкую сътку оцъпенънія, привсталь и, руку подъ козырекъ, отрапортоваль первое, что попало:

- Связь налажена, господинъ полковникъ! Съ луны... дають консонансъ!..
- Ка-кой консонансъ?! крикнулъ, передернувъ лицомъ, полковникъ. Вы что-то путаете?...
- Консонансъ, господинъ полковникъ... нащупывалъ я колеи его мысли. Для насъ это совершенно ясно! Съ луны подають знаки, и ...
- Ага! Дъло идетъ на-ладъ... Главное, тамъ извъстно, что мною приняты мъры! Это должно ободрить... Переломъ уже наступилъ! Вліянія слабъють съ утра, и уже вчера свъть былъ ярче! Имъ не удалось окончательно погасить её! Эна оживаеть и даетъ знать... Они таки напор-ролись! Изъ Пулкова?..
- Такъ точно! Изъ Пулкова, господинъ полковникъ! Сейчасъ же должны обратно, но намъ нуженъ бензинъ. Жду вашихъ распоряженій.

Я, какъ-будто, попалъ въ колею его больной мысти. Всего я не понималъ, но главное было ясно: онъ здъсь командовалъ.

- Бензинъ!?! Странно... тревожно-невнятно протянулъ онъ, подозрительно вглядываясь въ меня. — Вы, очевидно, не въ курсъ дъла...
- Господинъ полковникъ! уже ръшительно сказалъ я. Мы спъшимъ въ . . . Пулково! И бензинъ намъ нуженъ до-заръзу . . . И тутъ мнъ пришло на мысль ударитъ тревогу: Имъйте въ виду, что и Марсъ не совсъмъ въ порядкъ!

Я не ожидалъ такого эффекта: полковникъ достра поблъднълъ и взметнулся:

— Марсъ?! Какъ, и Марсъ также?!.. О, дъяволы!! — погрозилъ онъ ноганомъ. — Я это упустилъ изъ виду... Но... быть можеть, не *опыты* здѣсь? мо-

жеть быть... кометы близко прошли или... Какъ

у васъ думають? Да говорите же, не тяните!...

Игра захватывала меня. Безуміе заражаеть, и я поддался ему безвольно. Во мит бъщено бился смъхъ, смъхъ надъ самимъ собой, надъ этой проклятой жизнью, которую называють сутью. Мнъ хотелось прорвать эту грязную оболочку ея, въ которой томился я, за которой мнъ могъ открыться и открывался уже намекомъ — новый, чудесный міръ сказокъ и сновидіній, пусть хоть изъ пустяковъ стеклянныхъ.

И я поддался:

- Вы угадали, полковникъ. Вы, очевидно, чу-деснъщий астрономъ. Кометы прошли, я имълъ слу-чай ихъ наблюдать: Италія, Греція, Аргентина... Возможно, что онъ оказали на Марсъ вліяніе . . .

 — Капитанъ, опомнись! — дошелъ до меня
- славленный шопоть казначея.

Полковникъ что-то обдумывалъ.

— Возможно... но въ данномъ случав нечего опасаться. Это не *опыты!* Все двло — въ лунв! Жизнъ жива лишь *ея* тихимъ свътомъ! Значеніе Марса совершень ничтожно, нуль!

Прохоровъ повторилъ, съ карандашикомъ:

— Совершенно ... ничтожно-съ ... нуль-съ! Но я продолжаль бороться:

Господинъ полковникъ, прикажите дать намъ

бензину! Мы спѣшимъ продолжать опыты!
— Кто вы?! — въ бѣшенствѣ закричалъ полковникъ, хвативъ кулакомъ по кожуху машины. — Подлецъ или сумасшедпій?! Или вы, несчастный, не знасте, кто сейчасъ дъласть эти опыты?! Враги! Враги жизни и человъчества! Они поставили аппарать ... аппарать крови!! ..

Онъ высверливалъ меня взглядомъ, подавлялъ бъщенствомъ. У меня дрожалъ голосъ, въ этой «игръ», когда я выговорилъ невольно:

- Я обмолвился, господинъ полковникъ...
- Обмолвился?!...
- Я не такъ выразился, господинъ полковникъ. Мы спъпимъ продолжать изслъдованія луны... по вашей системъ...
 - Странно . . .

Полковникъ издалъ неопредъленный звукъ носомъ, — что-то злобно-насмъщливое, — перекосилъ ротъ и отошелъ отъ машины. Стоя въ полъ-оборота, онъ быстро поправилъ въ ноганъ и скомандовалъ часовымъ:

— Стража, открыть ворота!

Часовые — у одного оказалась палка вмъсто ружья — сейчасъ же ворота настежь. Сашка продвинулъ медленно, косясь на ноганъ полковника. Моментъ былъ жуткій: полковникъ оставался за нами, и ему ничего не стоило насъ убить. Наконецъ, за нами раздался командный окрикъ:

— За-крыть ворота!

Ворота захлопнулись съ оглушающимъ грохотомъ. Мы попали въ кошмаръ.

VII

Передъ нами была старинная, запущенная, когда то богатая господская усадьба, обнесенная высокими ствнами, — съ бойницами, какъ въ монастыръ. Огромный дворъ-лугъ, пріятный глазу коверъ зеле-

ный. За нимъ, подъ стѣнами, каменныя службы, бѣлыя, съ черными пятнами затворовъ, съ гнѣздами аистовъ на конъкѣ.

Высокій, въ три яруса, съ бельведеромъ, домъ-замокъ, съ круглыми башнями на углахъ. Домъ этотъ выходилъ глаголемъ: крыло смотрѣло на насъ, къ воротамъ; фасадъ, въ высокихъ колоннахъ, тянулся справа. Въ колоннахъ — ступени, изъ мѣлового камня, широкія, какъ въ соборахъ. Все было крашено въ удручающе желтый цвѣтъ, и въ этихъ желтыхъ стѣнахъ — огромныя, словно двери, окна, въ черныхъ, траурныхъ, переплетахъ.

За чугунной ръшеткой — заглохшій въковой паркъ: дубы и липы. На серединъ луга-двора — исполинскій дубъ, съ облупившимся, когда-то пестрымъ, Распятіемъ и чугунной скамьей вокругъ. Въ такихъ замкахъ бываютъ подземелья, истер-

Въ такихъ замкахъ бываютъ подземелья, истертыя плиты; въ стънахъ — ржавыя кольца, — давно

отшедшее.

На широкихъ ступеняхъ, между колоннами, кучка сизоголовыхъ, въ халатахъ, хлесталась картами и галдѣла. Одинъ стоялъ на колѣняхъ, глядѣлъ въ ведерко и часто-часто крестился: что-то онъ тамъ видѣлъ. По всему лугу валялись скореженныя желѣзныя койки, вспоротые сѣнники-матрасы и одѣяла въ клочьяхъ. Опустивъ головы, блуждали люди въ халатахъ. На скамъѣ, подъ дубомъ, стояли иконки съ банками отъ консервовъ, и какой-то высокій и тощій, голова рѣдькой, окрутившись газетами, переступаль съ ноги на ногу и отпѣвалъ кого-то...

Сашка подалъ къ колоннамъ, и мы услыхали полковника:

— Стопъ! Смиррно!

Изъ выбитыхъ оконъ дома совались головы, желтыя пятна лицъ. Мотали тряпками, простынями. Очевидно, встръчали насъ.

Сашка повернулъ голову, повелъ на меня, полошадиному, косымъ глазомъ, словно пыталъ — что дальше? — и глухо ворчнулъ:

— Влипли.

Казначей... Казалось, что онъ уснуль. Но онъ все такъ же сидълъ со своимъ чемоданомъ, какъ сползъ, и пытался что-то сказать, высматривая полковника. Я разобралъ одно слово: «вертится».

Полковникъ остановился недалеко отъ машины и, поматывая ноганомъ, закричалъ на крыщу:

— Сидоровъ! Музыкантъ! Какъ?! Вліянія есть?...

Я подняль голову. На самомъ карнизъ, двое, въ халатахъ и жестянкахъ на головъ, держались за телефонную проволоку и орали хрипло, наперебой:

— Оказываетъ, ваше вскородіе! Ихъ благородіе,

поручикъ Куровдовъ расчисляють!

Полковникъ задергалъ глазомъ и заметался:

— Признаки! Признаки мнъ давайте! Поручикъ, есть? есть вліяніе? рапортуйте же, чорть возьми!

Къ самому краю, не боясь сорваться, подошелъ худой, блъдный юноша, въ черномъ халатъ и тази-къ, какъ у полковника. Свъсилъ ноги, усълся и закурилъ. У меня захватило духъ: закружится голова — сорвется! Но тотъ спокойно покуривалъ, а полковникъ метался, размахивая ноганомъ:

— Извольте соблюдать дисциплину, а не ку-

рить! Рапортуйте-съ!

Юноша поднялся, взяль подъ тазикь и сказаль устало:

- Замътно слабъй, господинъ полковникъ. Мы противопоставили контр-вліяніе. Провода подняты еще на пятнадцать, площадь защиты расширена. Щиты дъйствують хорошо. Идея въ основъ върна, но лучше бы шелковые...
- Перебиваете мои мысли! замахалъ на него полковникъ, прислушиваясь внутри себя.

Поручикъ сълъ, упершись босыми ногами въ желобъ, и сталъ куритъ. Сидоровъ и Музыкантъ вытягивали одинъ у другого простыню и гремъли по крышъ.

- Лучше бы шелковые, господинъ полковникъ! Полковникъ дернулся и щелкнулъ по тазику разъ десятъ видимо, въ раздражени:
- Я же приказывалъ достать шелку!? Подъ арестъ пойдете! Сейчасъ же командировать Музыканта, отъ моего имени! Обязаны дать!! Написать отъ моего имени Главному Интенданту, подлецу! Ерничество, кумовство! Дать имъ, наконецъ, взятку!! Дѣло идетъ о спасеніи Россіи, человѣчества, а они высчитываютъ гроши! Моя система абсолютно вѣрна! Это геніальнѣйшее открытіе, и вотъ результать! показалъ полковникъ на насъ ноганомъ. Они изъ Пулкова! и привезли кон-со-нансъ!! Мы спасены! Ур-ра-а!..

Всѣ, на крышѣ и на крыльцѣ, что было силы, закричали: ура-a-a!

Это давно неслышанное «ура» искрой пронизало меня, и я едва удержался, чтобы не закричать съними.

Казначей выставилъ голову и пытался что-то сказать. Но я разобралъ опять только одно слово: «вертится». Очевидно, съ нимъ было плохо. Саш-

ка сидълъ копной, и его тупо-стеклянный глазъ пучился, силясь постичь — въ чемъ дъло?

- Я... я не пытался постичь. Я уже все постигь. Самая суть, самая върная, «здравая» суть была столь гнусна, что я счастливъ быль бы ея лишиться. Пусть затопить ее сверкающій міръ сумасшедшей сказки! Онъ творился во мнъ, этотъ чудесный міръ, втягивалъ и манилъ въ себя. Меня начинало захлестывать, мнъ начинало казаться, что тамъ, на крышъ, дълають что-то важное. Тревожно-дъловой тонъ полковника путалъ мысли:
- Добавить щитовъ съ запада и съ съвера! Главное, съ запада! Они пользуются магнитными возмущеніями, чтобы сбить насъ съ тольку... Не выгорить! Пони-маете... строгимъ шопотомъ обратился ко мнъ полковникъ, послъдніе дни я постигъ, наконецъ, ихъ тайну! Луна... начала слабъть! вянуть!! Неужели вы тамъ не замъчали! Замъчали?...
- Какъ же, какъ же, господинъ полковникъ... — поспъшилъ я отвътить на его жесткій взглядъ.— Очень замъчали и... недоумъвали!
- Га! подмигнуль онъ самодовольно. Можете быть покойны ... Это ихо послъднее напряженіе! Вы-ло! Огромный анпарать опытово... Это слово полковникъ произнесъ съ величайшимъ презръніемъ, какъ что-то въ высшей степени омерзительное. Я передамъ вамъ мои доклады и главный трактатъ «Работа кровью». Это произведетъ полнъйшій перевороть въ психологіи и гистологіи нервныхъ центровъ! Отвезете въ Пулково и сейчасъ же опубликуете отъ моего имени! Дъло не въ Нобелевской преміи, понятно... Передъ этимъ блъднъеть все! Я, полковникъ Николай Бабукинъ,

нашель спасеніе человъчеству! Ёму грозило превратиться въ звърей... Хуже! Оно должно било пожрать себя! Поняли?!!

— Слушаю, господинъ полковникъ. Но съ этимъ надо спъшить...

этимъ надо спѣшить...

Меня искушала мысль: сказать, что прорвались нѣмцы? Я не сказалъ. Почему? Я не могь уѣхать, не узнавъ, что же произошло здѣсь. Я не могъ оставить этихъ несчастныхъ счастливцевъ, — они же были счастливцы! — бросить на произволъ, на милость бѣшенаго врага. Я хорошо зналъ, что могло бы случиться съ ними при встрѣчѣ съ первымъ кавалерійскимъ отрядомъ. Я не могъ покинуть полковника и этихъ сизоголовыхъ: они не сумѣли бы даже сдаться! И еще: меня, какъ-будто захватывала игра. Въ этомъ хаосѣ перевернутой жизни притуплялась тревога. Передъ желтымъ домомъ, за этими монастырскими стѣнами, гасла мысль, что гдѣ-то здѣсь бродятъ нѣмцы, и все еще гдѣ-то идеть война. Все это было давно-давно. А здѣсь — лѣсъ волшебный, сверкающій міръ сумасшедшей сказки... волшебный, сверкающій міръ сумасшедшей сказки...
— Съ этимъ надо спъшить, господинъ полков-

никъ! — повторилъ я.

Полковникъ меня не слушалъ.

— Усивете! Не перебивайте меня!.. Вы должны все узнать и получить инструкціи. Не перебивайте же мои мысли! Достаточно того, что здёсь... — показаль онь на ухо, — *они* перехватывають мои планы! Вы еще не знаете всей гнусности, на какую способень человъкь, потерявшій душу! Я одинь, одинь я борюсь за всъхъ и принимаю страданія! Такъ воть ... *Они* поставили дьявольской силы двигатель, радіо-двигатель, работающій кровью! Кровью — это послъднее слово *ихъ* техники, *ихъ* науки.

Вы увидите чертежи... Два гигантскихъ стальныхъ цилиндра, двъ страшныхъ башни — наполненныя кровью! Кровь накачивають въ нихъ подъстрашнымъ давленіемъ! Свъжую, горячую кровь, въ которой еще плаваютъ темныя мысли и чувства... жгучія, человъчьи, чувства! Страстныя чувства плоти! Не человъческія, а чело-въчьи! Не смъщивать! Эту кровь они насыщають радіемъ... понимаете, этой звъриной силой, въ которой сплотилась, слеглась оть миріадовъ въковъ вся земнородная сила, духу враждебная! И воть начинаеть кипъть «радіо-кровь», черная сила, звъро-энергія... Ея «радіо-кровь», черная сила, звѣро-энергія... Ея черныя волны — онѣ поглощають свѣть! — они бросають на насъ и... — полковникъ удариль въ грудь, — убивають ду-ши! Души мертвѣють! Все свѣтлое... — его голосъ дрогнулъ, — все цѣннѣйшее, что есть въ человѣкѣ, гаснеть... Умираеть божественное начало! Но еще остается спасеніе: лунный свѣть... тихій, кроткій небесный свѣть ночного стража земли! Другь поэтовь — душь чуткихъ! другь страдальцевъ, кому нестерпимо — волнующее страсти солнце! Когда мѣсяцъ въ небѣ, я ему тихо-тихо шепчу: «гуляй, тихій ... гуляй, ночной...» Его ультра-зеленыя волны — онъ еще неизвъстны физикамъ, этимъ самоувъреннымъ, узкимъ матерьялистамъ, ихъ отрицающимъ, — вдребезги разбивають, про-глатывають волны черной «радіо-крови»! Я создаю новую физику, — «психо-физику»!.. Но послъдніе дни они усилили опыты, и луна стала блекнуть! Они стали ее вы-са-сывать!! Волны невъроятной силы! Намъ грозило превратиться въ машины, въ покорнъйшее орудіе ихъ воли! въ двуногихъ звърей земли! Шла гибель! Во имя высокаго назначенія человъка, во имя Бога, въ человъ къ живущаго, я ваять на себя этоть тяжкій подвигь. Свыше мнъ предуказано — спасти міръ! И я приняль. Я взяль этоть кресть, на которомъ начертано: «Симъ побъдиши!» И я... я побъждаю! — крикнуть полковникъ сдавленнымъ голосомъ, приближая ко мнъ обезумъвшее лицо. — Смерть человъкоубійцамъ! смерть! Крови у нихъ довольно, но они... га! они таки напор-ролись на контръ-систему полковника Бабукина!...

Взглядъ полковника вливался въ мой мозгъ и связывалъ мысли. Наплывало оцъпенъніе, и гасла воля. Но я боролся. Я хватался за слово — бензинъ! Это былъ, какъ-будто, устой въ водоворотъ спутанныхъ мыслей. И я крикнулъ, словно боялся пропастъ, истаять:

— Дайте же намъ бензину! бензину дайте!! Полковникъ пожалъ плечами.

— А-а... пустяки вы болтаете! Бензинъ — бензинъ! Весь бензинъ приказалъ я вылить въ канаву! Его нътъ ни капли. Бен-зинъ! Этотъ подлецъ-бензинъ отравлялъ!

Странно — меня это нисколько не удручило. Но

казначей завозился и кръпко сдавилъ мнъ ногу.

— Да выручай же... — прохрипѣлъ онъ. Сашка заерзалъ скулами и сказалъ въ пространство:

— Хоть бы керосину дали...

- Но какъ же намъ быть, полковникъ?
- Подчиняться распоряженіямъ!

Туть я сдълаль попытку:

— Ну, а если нъмцы прорвали фронть, и намъ надо спасать себя и . . . — вашу идею . . . вашу великую идею, полковникъ?

— Не забывайте, что я на посту, капитанъ! Только теперь и здъсь идея моя въ движении и творить! — раздраженно крикнуль полковникъ. — Не болтайте же глупости и не бабьтесь! Имъ совсвив не до этого, не до фронтовъ! Фронть — для отвода глазъ! Имъ нужно порабощенье духа! Я знаю ихъ со-ці-альныя вертушки! ихъ прикрышки! Въ основъ-то шахеръ-махеръ! Законопатить душу и вздить на рабыхъ спинахъ! Не понимаете?.. Теперь они сбиты съ толку! Ихъ аппаратъ опытовъ сталъ шалить! Понимаете?! Они все ищуть мою контръсистему, но . . . это не-уло-вимо! — хитровато подмигнуль онъ. — Мы теперь въ безопасности, и система въ полномъ ходу. Самое вредное обезврежено! Оно — тамъ! — указалъ полковникъ на службы, передъ которыми висъли простыни на веревкахъ. — Удивлены? Га!! Дъльце таки обдълано. Они всюду имъли шпіоновъ! Здёсь, понятно, особенно. Чуяли, гдё собака! И нашъ яко бы докторъ, яко бы Михайла Семенычъ, — Ми-ха-илъ! Михайла!! — Богоносное, русское имя — святонародное имя!—на самомъ дъль, это ихо берлинскій агенть Сименсь-Гальске. Происками меня сняли съ фронта и посадили въ этотъ домъ сумасшедшихъ, гдъ обманно томилось много невинныхъ жертвъ, не желавшихъ звъриной жизни. Я посылалъ доклады — шпіонъ перехватываль ихъ. Я умоляль, бился головой о стъны... — шпіонъ пожималь плечами! Я пытался покончить съ собой — негодяй грозиль запереть меня въ изоляторъ! въ и-зо-ляторъ!! Вы пони-ма-ете?! Тогда все пропало!.. гибель грозила Россіи! человъчеству!! А мнъ требовался пустякъ... щиты! Волны «радіо-крови» *они* концентрировали на мнъ, чтобы поразить главный центръ! У меня былъ одинъ только щить —

моя простыня!... Я могь только спасти себя... И воть... ohu таки напо-ролись!...

У меня рябило въ глазахъ отъ напряженнаго взгляда полковника. Его неподвижные, расширенные зрачки, въ матово-жирномъ блескъ кровянистыхъ выкаченныхъ бълковъ, связывали мысли, усыпляли.

— Я решиль действовать, — продолжаль полковникъ, приближая лицо и фиксируя меня взглядомъ. — У меня были люди, люди — тончайшей душевной организаціи, готовые итти за мною на все! Когда я открыль имъ тайну грозящей гибели — ихъ охватиль ужась! Самый пылкій изъ нихъ, самый нъжный, величайшій изъ математиковъ духа, — онъ создаль систему, въ сравненіи съ которой Коперникъ показался бы бездарью... таблицы духовныхъ координать — это капитанъ Токарёвъ! Онъ не вынесъ этого ужаса и переръзалъ жестянкой горло... Но будемъ смотръть спокойно... подвигъ требуетъ жертвъ! И вотъ... мои друзья — поручикъ Куровдовь, этоть скромный сврый герой Прохоровь, — показалъ ноганомъ полковникъ на адъютанта, отвернувшагося стыдливо, — се че-ло-въкъ! — еще . . . капитанъ Коринъ... сейчасъ онъ занятъ въ комис-сіи... и трое еще... мы совершили!... Мы свер-шили!! Мы взяли власть! Я разработалъ планъ. Ночью порвали телефонъ, захватили двухъ сторожей, сняли дежурныхъ... — безъ капли крови! и вотъ... схватили шпіона въ постели... и съ нимъ... сестру! У негодяя хватало и на любовныя мерзости! Каковъ мерзавецъ! Кто бы могь думать, что милая Аничка... Теперь вст они обезврежены и изолированы вполнъ. Они — тамъ!

Полковникъ ноганомъ показалъ къ службамъ.

— Пока. Комиссія спъшно ведеть работу.

— Что вы съ ними хотите дълать? — спросилъ я, стараясь казаться равнодушнымъ.

Полковникъ съ изумленіемъ оглянулъ меня.

— Что за вопросъ?! Они понесуть заслужен ное! За кровь отвътять они!!

И его голосъ зазвенълъ сталью.

- Извольте сидёть! крикнуль онь, предупреждая ноганомь мою попытку открыть дверцу машины. И понизивь голось: Этоть широкорылый... хорошо вамь извъстень?...
- О, да, господинъ полковникъ... вполнъ надежный, дъвственный, такъ сказать! поспъшилъ я успокоить тревожную подозрительность полковника и даже придалъ голосу нъкоторую таинственность: дескать, и мнъ понятно, почему долженъ быть надеженъ шофферъ.

Сашка, кажется, не совсёмъ понялъ, что дёло идетъ о немъ. Но онъ былъ въ возбужденіи: надуваль щеки, шевелилъ скулами, дёлая быстрый выдыхъ, — обычный пріемъ, когда сильно разстроится.

— Смо-трите... фигура странная! **И эти**... слишкомъ мясные зубы... Да, такъ вотъ... **И** вотъ результатъ! Всего только сутки — и вліянія ослабъли! Какъ у васъ тамъ, поручикь?

Поручикъ дремалъ на крышъ. Онъ лъниво по-

днялся и доложиль:

 Все въ порядкъ, господинъ полковникъ. Прикажите давать обълъ.

— Бросьте ребячества! — съ укоромъ сказалъ полковникъ. — Ихъ еще хватаетъ на пустяки! Въ моментъ возрожденія человъчества, когда изъ этой цитадели — указалъ онъ на желтый домъ — поте-

куть во весь міръ животворящіе токи моей системы, — они думають объ ѣдѣ! Ну, это скоро пройдеть. Вчера прислали отравленный хлѣбъ, но я захватиль агента-подводчика. Сегодня уже не везуть хлѣба! Вы по-ни-маете?! И что же?! Сколько было вчера и сегодня на перекличкѣ?

Прохоровъ вытянулся, отступилъ на четыре ша-

га и доложилъ отчетливо:

— Ваше высокоблагородіе! Вчерашняго числа, по ввъренному миъ Отдълу сопротивленія гибельнаго вліянія . . . — онъ запнулся, растерянно моргая, какъ запуганный экзаменаторомъ ученикъ, — волненій враговъ человъчества! налицо оказалось сто семьдесять нижнихъ чиновъ, оберъ-офицеровъ два, штаб-офицеръ — одинъ! Сегодняшняго числа: нижнихъ чиновъ — тридцать одинъ, обер-офицеровъ — два, штаб-офицеръ — одинъ! — Безнадежные откололись. Ну, погибнутъ!

— резнадежные откололись. ну, погионуть:
— крикнуль полковникь, и его глаза загорфлись.
— Сегодня одинь выбросился тамь... увидите ре-

зультать. Впрочемъ, это все частности...

Я услыхаль сдавленный шопоть казначея:

— Ужасъ . . . ужасъ . . .

VIII

У меня путалось въ мысляхъ...

Да что же, наконець, творится? Что это: марево или суть? И что это за разгромъ весь этогь, и что такое эти борющеся съ призраками люди?

что такое эти борющієся съ призраками люди?
А можеть быть это вовсе и не разгромъ? Тамъ, въ огнъ и въ крови, въ рёвъ и пляскъ штыковъ въ живомъ мясъ, въ громъ и свистъ бъщенаго желъза,

— разгромъ или созиданіе? А здѣсь... все то же ли «марево», какъ въ городишкѣ, на фронтѣ, въ моемъ «гробу»?

Безумный полковникъ говорить такія слова, какихъ не слыхалъ я давно, не слыхалъ ни отъ одного человъка на фронтъ:

— Человъчество попало въ тиски — и рвется. Столкнулись свътлыя тъни будущаго и теперешніе скелеты... И воть, облеченіе новой плотью идетъ кроваво... Ижо нужна только плоть! Я...я дамъ новую душу — тихимъ, небеснымъ свътомъ...

Почему же я долженъ признать полковника безумнымъ? Онъ ведетъ облеченіе новою плотью, рветъ старую плоть, и его душа истекаетъ болью. Развъ это не — сутъ? И какой еще «сути» нужно?

Начинало казаться мив — и было! — совсвив реальнымъ: идеть борьба нарождающейся «новой сути» и стараго «марева» . . . Это чудесно. Прорывается ново-рожденная мысль, рветь и ломаетъ устоявшіеся пути привычнаго . . . — и отсюда хаосъ, хаосъ . . . Идеть эта борьба, и я въ центрв этого вихря, этого столкновенія, и бользненно выдираюсь. Теряю сознаніе привычной «сути» . . .

Но эта привычная «суть» еще давала о себъ знать, еще держала. Она успокаивала, какъ милая пичуга на кустикъ, какъ туфли изъ ангорскаго кролика, крашеный полъ и чудесная старка казначея... Ахъ, гдъ вы, мои тихія дамы въ перьяхъ, телунька на бугоркъ, пестрые колокольцы вьюнка въ утреннемъ тихомъ садикъ... восходы и сумерки, — никому не мъшающая, ничъмъ не пугающая, такая понятная, чистая суть человъческой, моей жизни?.. Не хочу никакихъ новыхъ рожденій и «продираній».

Эта привычная «суть» еще давала о себъ знать, и оть этого было легче. Она оставалась для меня въ казначев, въ Сашкъ, въ его върномъ, «успокоительномъ» затылкъ, за которымъ все просто, «андеференто», — пряничныя дъвченки, «выбъемъ», плевать! . .

Полковникъ сдълалъ ноганомъ знакъ: сойти!

— Въ домъ пока незачъмъ... Да! Истуканъ этотъ, вашъ шофферъ... вы увърены въ немъ? — шепнулъ мнъ баскомъ полковникъ, тревожно-враждебно косясь на Сашку. — Это очень важно для насъ! Вы увърены?

— Я уже имълъ честь, господинъ полковникъ...

— Такое... животное рыло!... Скулы и румяная морда... морда! У нихъ все — въ мордъ! И тотъ негодяй, Гальске... проклятыя розовыя щеки! мя-со проклятое!! Только мясо! кровь черная!!... Я ихъ распознаю чудесно. Вы поглядите — мои! Они утончились, облагородились... — и ихъ признають боль-ны-ми! О, подлецы! Ну, идемте...

— Скажи ему про нъмцевъ, спасай положение! — хрипълъ казначей, выбираясь опасливо на си-

дънье. — Онъ заговорить всъхъ, туманный . . .

— Хоть керосину нъть ли... — испуганно ки-

нулъ Сашка.

Говорить съ полковникомъ было безполезно. У меня было другое въ мысляхъ, я обдумывалъ одинъ планъ... Но, спутанный призывомъ Сашки и казначея, я опять попытался:

— Господинъ полковникъ... о вашемъ великомъ подвигъ мы должны немедленно увъдомить Пулково и весь міръ... Дайте же намъ хотя бы... керосину!...

Я чуть не расхохотался. Этоть проклятый смъхъ бился во мнъ, смъхъ надо всъмъ — надъ

этимъ циклономъ «сути» и «марева». Человъче-

ство . . . и — керосинъ!

— Бросьте вы пустяки! Все уничтожено! раздраженно сказаль полковникъ. — Бензинъ то же, что керосинъ... ихъ формулы очень близки. Пока... вы необходимы мнв здвсь. Здвсь — центры! Концентрируя силы, мы будемъ бить отсюда по периферіи! Пони-маете?! Прошу...

Онъ вдругъ схватился за голову, не выпуская

ногана, и застоналъ:

— Что они со мной дълають! Они не хотять снять подлый микрофонъ! все еще эти ужасные голоса... Но все это скоро кончится. Живъй, илемте...

Мы сошли съ машины. Казначей засопълъ, стараясь вытянуть чемоданъ и тревожно мигая мнв.
— Что такое?... что за чемоданъ?!.. — тре-

вожно крикнуль полковникъ, отскочивъ въ сторону.

Я не нашелся сразу, но казначей таки вывернулся удачно:

— A...a...a...

Онъ смотръль въ ужасъ на полковника, съ разинутымъ ртомъ и вывороченными глазами. Онъ даже подняль фуражку, обнаживь мокрую лысину, и безпомощно акаль, какъ младенецъ, шевеля языкомъ. Куда дъвалась чудесная его бойкость, на крашеномъ, върномъ, полу, съ одуряющей Аргентинкой!

И вдругь — геніально-простая мысль вырвалась ласточкой:

— Ассигновки!.. для помощи!..

— Ассигновки?!! — такъ и вспорхнулъ полковникъ. — Наконецъто! Чего-жъ вы молчали, другъ?! Лавайте, сейчасъ давайте!

Полковникъ схватился за чемоданъ, но . . . казначей ухватился кръпко. Взметнулась его «стихія»!

— Я... ка... казначей, собственно... и буду выдавать по инструкціи... пришлите формальныя требованія...

Это далось ему очень трудно. Но, должно быть, его измученное лицо, съ натеками подъ глазами, пришлось по душъ полковнику: лицо одухотворенное! Полковникъ выпустилъ чемоданъ и сказалъ пріятно:

— Казначей?!! Чудесно! Это какъ разъ мнъ и нужно! Какая предусмотрительность! — восторженно закричалъ полковникъ. — Назначаю васъ старшимъ казначеемъ всего Отдъла! Теперь карьера вамъ обезпечена... похоже, вы карьеристъ? Немножко?...

Какова сила ассигновокъ! Даже такого онъ сдълали галантнымъ.

- Не... множко... выдавиль изъ себя казначей, ворочая на меня глазами.
- Вамъ представляется возможность... необходимо реорганизовать финансовую систему! У меня геніальный планъ!... Руководящія указанія получите вы отъ.... Прохорова и завтра же подадите докладъ въ комиссію капитана Корина. Идемте...

И поманиль ноганомъ.

Вы представляете физіономію казначея! Его посинѣвшее отъ волненія, страха и усилій лицо — онъ едва волочилъ чемоданъ — сплошь покрыло крупными каплями, словно его хватили изъ брандсбоя, онъ затрепыхался на мъстъ, какъ подбитый, и потащился за нами, не издавъ ни звука.

Сашка хотълъ остаться въ машинъ:

— Ваше вскобродіе! Разнесуть на клочья... — взмолился онъ, отмахиваясь оть писаря.

Онъ показываль «мясные» зубы...

— Молчать! — гаркнуль полковникь такъ, что казначей выпустиль чемодань, а толпившіеся, вы гороховыхь халатахь, разсыпались, въ птичьихъ

крикахъ. — За мной! Къ машинъ — стражу!

Сашка сдълалъ губами — ф-фу! — и побрелъ покорно. Я чувствовалъ, что все дъло во мнъ, что я долженъ собрать всю волю и отыскать выходъ, выходъ — во что? Въ то, во что я уже не върилъ? . . . что мнъ было совсъмъ ненужно? И все же, я прикидывалъ, какъ овладъть полковникомъ. Этотъ гигантъ съ ноганомъ былъ не по силамъ мнъ одному, но надежда на Сашку была слаба, а казначей едва стоялъ на ногахъ.

— Идемте, идемте! — торопилъ полковникъ. — Они сегодня не вли и потому немного возбуждены, — показалъ онъ на домъ, откуда слышался вой. — Надо же поступаться во имя высшаго! Къ тому же я все болве убъждаюсь, что это дурная привычка — встъ каждый день... Я уже другой день не вмъ — и чувствую себя превосходно. А дано знать въ Севастополь и ... Владивостокъ? Ага... Спасибо, спасибо! — сжалъ мнъ руку полковникъ. — Я всегда върилъ въ Пулково... Мнъ нужны люди, да.

Онъ почти бъжалъ на своихъ длинныхъ ногахъ, верткій, упругій силачъ-спортсмэнъ, увлекая движеніемъ. А, все равно... Жизнь давно стала на голову, и никто не мъшаетъ. Сейчасъ насъ захватятъ нъмцы, свяжутъ полковника, насъ... Въдь и насъ коснулось разгулявшееся безуміе... Почему же — безуміе? Одно стоитъ другого! Тамъ — въ клочьяхъ живое мясо... здъсь... полковникъ Бабукинъ

проводить свою «систему», по-своему! Одно стоить

другого! Алло!..

Мы прошли за полковникомъ въ тихій паркъ, за чугунную бурую ръшетку. Чудесна она была, слитая изъ звърей, — медвъдей, волковъ, кабановъ, рысей, лисицъ и оленей въ дебряхъ, за которыми гонится человъкъ... Какая чудесная работа! Шутникъ художникъ показалъ таки силу человъчью! Голый человъкъ въ дебряхъ поролъ брюхо кабану, давилъ за языкъ медвъдя, катался по землъ съ рысью, въ обнимку плясалъ съ волками... Чудесной силы была свитая изъ звърей ръшетка!

Вышли къ боковому фасаду замка, въ заросли бузины, сирени и волчьихъ ягодъ...

Полковникъ ткнулъ въ кусть ноганомъ:

— Вотъ... Одинцовъ не преодолълъ — и выкинулся! — ткнулъ полковникъ ноганомъ кверху. — Но... безъ жертвъ не обходится... Прибрать! А Гудёнку взяли изъ водоема?

Прохоровъ задергалъ бровями:

- Никакъ нътъ, ваше высокоблагородіе! Охотниковъ не находится...
- Ослы! Что же вы, настой изъ Гудёнки будете лопать? О-слы!... Ослы не поймуть того, что если одинъ идіоть отравленный вваливается въ бассейнъ, то они все отравятся, если не вынуть во-время! Два непріятныхъ случая... Но что все это въ сравненіи съ тѣмъ, что могло случиться!

Я слышалъ его болтовню, но слова не доходили до нъдръ. Я не могъ отвести глазъ отъ точки, въ которую обратилась, къ которой теперь свелась для меня вся жизнь: кусть бузины, и въ этомъ кусту... ноги! Синія, тощія, жилистыя, съ желваками и шиш-

ками, съ кривыми ногтями, — ноги невъдомаго звъря... Онъ смотръли грязными пятками — въ небо!
— Не преодолълъ Одинцовъ! — мрачно ска-

залъ полковникъ.

Подштанники сползли, и болтались тесемки. Голова застряла въ кусту, у корня, подъ накрывшими полами халата. Казалось, что кто-то, шутя, полъзъ за птичьимъ гнъздомъ и для общей потъхи сталъ въ кусту на голову, болтая пятками. Но пятки были недвижны, мертвы. То быль знакъ поставленной на голову жизни. И очень удачный знакъ!

- Почему же не помогли? оставили? спросилъ я полковника спокойно.
- Не говорите чушь, капитанъ... Теменемъ, на острый пенекъ! Желалъ-бы я вамъ попробовать!... — что-то соображая, сказаль полковникь. — Слъдствіе я закончилъ... Вонъ, изъ того окна!
- Вертится... застоналъ казначей, миъ дурно...

Онъ сълъ въ крапиву, на чемоданъ, и закрылся

руками.

— Спокойствіе! Подтяните нервы, не бабиться! — крикнулъ полковникъ. — Готовьтесь къ жертвамъ! Прибрать!

— Дура-а-акъ! . . — раздался сверху злой и пискливый крикъ, похожій на птичій, и къ нашимъ

ногамъ упала жестянка отъ керосина.

Изъ верхняго этажа высматривало остренькое липо, похожее на хорька, дразнилось, высовывая языкъ.

Полковникъ погрозилъ ноганомъ, — и лицо

спряталось.

— Непріятная частность, но, въ общемъ, успъхъ громадный! Все неспособное къ жизни новаго духа — отвъется... Останутся совершенные, которые пойдуть... до конца! Стойте... онъ... опять это онъ, несчастный... — тревожно вдругъ зашепталъ полковникъ, прислушиваясь, и его лицо посъръло. — Умъйте владъть собой... это онъ... слишкомъ ръзко воспринимаетъ идею... односторонне... ищетъ убить... Звъря! Начитался этого Апокалипсиса и... извращаетъ мою систему... Придется положитъ изъ ногана...

Онъ поправиль въ ноганъ, — поставилъ «огонь», должно быть. Я схватилъ его за руку....

— Полковникъ...

Полковникъ рванулся, обжегъ глазами... и я услыхалъ ръжущій холодкомъ, подкрадывающійся голосокъ за кустами:

— Могу по-брить... могу по-брить... — и мелко-сыпучую, равнодушную, гнусную брань-бормотанье.

Отъ этого мертваго голоска и равнодушной брани въяло жуткимъ до тошноты: неотвратимымъ, постыднымъ.

Къ намъ подбирался тропкой коротконогій, большеголовый, съ водяночнымъ лицомъ-волдыремъ и выкатившимися, пустыми, глазами. Глазастый нарывъ какой-то. Онъ присъдалъ, кривлялся, сыпалъ мелко похабной бранью, а глаза были неподвижны, какъ выпуклыя стекляшки. Подкрадывался къ намъ съ бритвой, съ жестомъ привычнаго парикмахера.

— Дойду, достигну въ душу... — черезъ зубы, какъ сонный, сыпалъ-цъдилъ волдырь.

Полковникъ заметался на мѣстѣ, размахивая ноганомъ:

— Скажите ему «мерси»! — въ паникъ зашепгалъ полковникъ. — Мъщаетъ... распугалъ всъхъ... унесь у этого негодяя... Гальске... тоть разъ... не могуть отнять бритву...

— Могу по-брить... могу по-брить... — подкрадывался волдырь, водя по воздуху, какъ бы поддерживая двумя пальцами чей-то подбородокъ, а дру-

гой рукой, крадучись, подводиль бритву.

Я отступиль передь этимь мертвымь лицомь вы усмъшкъ, передъ слъпою смертью. Она въжливо и упрямо искала жертву, — слвпо и гнусно-въжливо... Позади меня шарахнулся казначей и упаль со стономъ въ крапиву, — я слышалъ, не сводя глазъ съ поблескивающей колодкомъ бритвы.
— Мерси!... мерси!!... — закричалъ я, сты-

дясь мучительно, — безпомощности ли своей или

подлой насмъшки надъ человъкомъ...

Это было магическое слово, это «мерси»! Слово великой силы! Оно — творило! поставило, какъ бы, ствну! Волдырь ткнулся объ эту ствну, подался, его синія губы раздвинулись въ улыбку, въ улыбку черепа, и . . . онъ присълъ, вытянувъ ногу назадъ, дълая какъ бы реверансъ.

— Не стоить благодарности изъ такой малости!...

Онъ произнесъ это очень значительно, какъ Великій Жрецъ, Понтифексъ Максимусъ, поклонился галантно, какъ парикмахеръ, и, стыдливо запахиваясь халатомъ, задомъ ушелъ въ кусты.

Сашкинъ голосъ шипълъ мнъ въ ухо:

— Взять ихъ, ваше высокобродіе...

— На-р-руку! — крикнулъ полковникъ подходившему къ нему солдату, котораго Прохоровъ толкалъ въ спину. — Кто тебя сиялъ? Прохоровъ?..

Солдать глядёль исподлобья, тупо. Онъ быль страшно худой, долговязый, — какъ говорится, растянистый. Онъ безцъльно соваль руками, вихлялся, какъ резиновый пруть, и жеваль пустымъ ртомъ: испортилась въ немъ машинка.

- Кто тебя снялъ? повторилъ полковникъ.
- Сево-о?... нисево... шепеляво сказалъ солдать. — Себа не даваи... Давай себа!...

Онъ смотрълъ на полковника, словно побитая собака. Испорченная машинка требовала себъ хлѣба!

О, проклятье! Кто, или что наложило печать гориллы на этомъ послъднемъ звенъ природы? Гдъ они, величавые мудрецы, вдохновенные творцы мысли? Въ какой страшной пучинъ бредутъ они, въ чащъ путей звъриныхъ! Въ кошмаръ, меня кружившемъ, постигнулъ я терявшейся мыслью, какъ страшно и одиноко быть драгоцънности человъческой, вдохновеннымъ творцамъ божественной мысли. Въ пустыняхъ бродятъ они, надъ безднами, не охраняемые ничъмъ. Тысячи тысячъ звъриныхъ лапъ, тысячи тысячь пастей стучать зубами... Какь же нужно хранить, стальными ствнами оберегать чудесныя единицы человъчьяго стада, прорывающія звъриную кожу, свершающія облеченіе плотью новой! Пустыню, бездну они призывають: въ небо!
— На-р-ру-ку! — бъщено крикнулъ полков-

никъ, хватаясь за штыкъ винтовки.

Солдатъ зацъпилъ прикладомъ полу халата, показаль волосатыя ноги-кости и попытался взять вспомнить — «на-руку». Крикни ему полковникъ: коли! — онъ не задумался бы проткнуть любое. Смотрълъ на меня исподлобья, пугливо-злымъ взглядомъ идіота...

- Приходится охранять идею... тревожно бросиль полковникь. На пять шаговь назадъ! крикнуль онъ Сашкъ. Еще! еще! Прохоровъ, отведи назадъ этого красномордаго! Вы въ немъ увърены? понизиль голосъ полковникъ до шопота. Обратите вниманіе на скулы... Они его обработали! Зубы слишкомъ бълы, мясние...
- Это вполнъ надежный, простой и добрый парень, полковникъ...
- А какъ вы думаете? У нихъ, у этихъ, что работають кровью, мало добрыхъ парней?! Вотъ это полъно ... ткнулъ онъ ногой въ колоду, злое?.. А имъ можно расколоть черепа тысячи Аристотелей и ... Ньютоновъ!! Добрые парни, съ мясными зубами и красными мордами! Тебъ говорятъ десять шаговъ назадъ! .. Вліянія еще не убиты ... Этотъ Васильевъ, который всъхъ распугалъ, немножко, конечно, тово ... понимаете? Но я знаю, что онъ единодушно со мною отыскиваеть виновныхъ ... тъхъ мерзавцевъ, которымъ нужно ... которые дерзаютъ убить живую человъческую душу! Вотъ почему онъ уважаетъ «мерси»! Онъ чуткій! Математиковъ путаютъ съ психологами! А мы, психологи ... А полномочія ваши? ..

Выло сказано неожиданно, но я нашелся. Полковникъ любилъ увъренный тонъ.

- Я ихъ отправилъ почтой, чтобы не перехватили въ пути, господинъ полковникъ!
- Почтой? А это умно, пожалуй... Ну, идемте... Прохоровъ, возьми ключъ. За нимъ!

Мы вышли во дворъ, сопровождаемые полковни-комъ и солдатомъ, и подошли за Прохоровымъ къ длинному каменному сараю, сплошь завъшанному простынями на веревкахъ.

— Здъсъ... — значительно произнесъ полковникъ, замътно волнуясь. — Осторожнъй!..
Мы остановились передъ широкимъ чернымъ

затворомъ, съ тяжелымъ замкомъ.

Полковника охватило сильнъйшее безпокойство: онъ вертълъ ноганомъ и дергался. Здъсь былъ очень опасный пунктъ: сидълъ берлинскій агентъ Сименсъ-Гальске съ подручными.

— Возьмите платокъ и дышите, какъ черезъ

— возымие платокы и дышите, какы черезы маску... — тревожно шепталы полковникы, прижимая платокы кы губамы. — Сейчасы вы услышите этихт гедовы... Прохоровы, отпирай...

Прохоровы отворилы сарай, полный до-верху всякым хлама: ящиковы и кадушекы, птичьихы садковы, коекы, разбитой мебели... Пахнуло гнилой корты в поточительными полными полным капустой. Потомъ, закрестившись, съ усиліемъ подняль дубовое творило подполья и отскочилъ въ испутъ. Еще остръе пахнуло на насъ гнилью.

— Слушайте... слушайте... — шипълъ за спиной полковникъ.

Я потянулся съ порога — заглянуть въ люкъ, увидаль, что онъ затянутъ холстиной, какъ пчелы въ ульъ, и сейчасъ же меня рвануло назадъ. Пол-

ковникъ дернулъ меня за френчъ.

— Съ ума вы сошли?! Сдышите этотъ ужасающій запахъ гніющей крови?!! Этотъ ужасъ!... Остатки проклятыхъ опытовъ... Проклятые продолжають даже въ ямъ! Чувствуете, какъ нижеть?!...

Прижимая платокъ къ губамъ и ноздрямъ, онъ ворочалъ глазами въ ужасъ, пырялъ ноганомъ то къ подвальному люку, то въ насъ... Лицо его взмокло и посъръло. Подвалъ мучилъ его и все же тянулъ къ себъ.

— Задержу слѣдствіе, пока не сниметь оиз микрофонь... — черезъ платокъ закричалъ полковникъ, словно изъ-подъ земли. — Голодомъ заморю, заставлю! Хотять читать мои мысли! убить идею!? Убью я самъ! Знайте, гады... я, я подымаю человѣчество, а вы хотите его приплюснуть, убить душу живую? Стереть ликъ Божій?! — Слышите?... слышите?!.. — дергалъ меня полковникъ. — Они продолжаютъ, гнусы!... гудять... пускаютъ волны... Вы слышите?!.. Смотрите, какъ оно дышитъ... дышитъ... яйцо гадючье...

Оно ходило, дышало, опадая и подымаясь плавно, это бъльмо подвала, натянутая на люкъ холстина... Не холстина, — живая пленка.

Это было безуміе...

Изъ глубины подвала тянулись тяжелые вздохи, шорохи . . . Это было безуміе . . . Оно выползало оттуда въ тяжкомъ запахѣ человѣчьей гнили, въ хрипѣ и вздохахъ, въ заглушенномъ воѣ, въ выкрикахъпискахъ, въ вопляхъ . . . Оно выползало, ширилось, выдавливало собою набитую холстину, начинало владѣть и мною . . . Мысли мои мѣшались . . . То мнѣ казалось, что въ удушливой тьмѣ подвала, въ грязи, свалены въ кучу, скручены, такъ называемые, здравые люди — докторъ, сестры, солдаты . . . Здѣсь, наверху, безуміе! И это безуміе разгуливаеть съ ноганомъ! И мы, трое, — здравые же и мы люди! — были безсильны. То была жизнь-абсурдъ. Я сознавалъ отчетливо: двинься я—полковникъ не задумался бы съ

ноганомъ, а солдать-идіотъ прикололь бы меня штыкомъ. Но мгновеніями я терялся: тамъ, въ подвалъ, и есть настоящій ужась, пугающій жизнь, поражающій ее насмерть. Ужасъ полковника, захвативній меня безвольно. Ужасъ людей, творящихъ земное дъло, творящихъ кровью... Они, сидящіе тамъ, въ затхлой грязи и гнили, люди звъринаго лика, они убивають живую душу, рожденную тихимъ, небеснымъ, свътомъ... хватають и душать проблескъ души свободной, давять ее челов вчьимъ мясомъ, топять въ человъчьей крови...

Проклятые...

Кто сказаль это слово?... Я ли его сказаль?..

— Проклятые... — глухо сказаль полковникъ.

— Полковникъ . . . освободите! . . . — различилъ я измученный женскій голось. — Мы умираемъ... мы голодны... это безчеловъчно!... У насъ затекли ноги...

Да кто же, наконецъ, тамъ, въ дыръ?!...

Лицо полковника повело злой усмъшкой. Онъ слушаль, слушаль...

Въ дыръ путались-бились жалобные, моляще,

укоряющіе голоса-стоны:

— Николай Васильичъ... стыдно!... больно за васъ!..

— Помилосердуйте... ваше высоко... — Найдите же въ себъ силу мысли! Коровкинъ уже помъщался... Вы же интеллигентный человъкъ...

— Съ нами, съ вашими сестрами такъ... Мы все отдавали страдающему народу!...

— Слышите эти льстивые, змънные голоса? — - гудъль за моей спиной голосъ полковника.

- Даю честное слово, полковникъ! раздался мужской, бархатистый голосъ: я предоставлю вамъ полную свободу... ваши доклады перешлю министру!.. Полковникъ, вдумайтесь же!..
- Сименсъ-Гальске... даеть... честное слово! —хрипълъ голосъ полковника. Перешлетъ мои доклады... ко-му?!..
- Ослобоните, ваше высокоблагородіе! Ради дѣтей-сироть...

— Фершалъ не въ себъ сталъ...

— Дико, дико... Николай Васильичъ! Культурный вы человъкъ... и такъ дико!... У насъ Коровкинъ...

Кошмаръ... Они, знавшіе, что такое полковникъ, котораго они запирали въ изоляторъ, они взывали къ его силъ мысли! Взывали отъ сердца, отъ всей души... Это былъ, кошмаръ...

Полковникъ слушалъ, какъ чудесную музыку. Пилъ наслажденіе, муку, — было видно по его вытянувшемуся лицу въ усмъшкъ.

- Клянусь душой, мы раздёляемъ ваши мечты, полковникъ! истерично выкрикнулъ женскій голосъ.
- Върую! върую!! согласна... Господи, я согласна!...
- Вы слышите, каковъ голосокъ сиренъ! злорадно, дрожащимъ отъ наслажденія голосомъ гу-дълъ полковникъ у моего уха.
- Ради всего святого... у меня лихорадка... мы признаёмъ... Коровкинъ заболълъ... фельдшеръ...

— Ara! Вы губили, проклятые, а я спасаю! спасу!!

— Такъ точно, ваше превосходительство! Губили-загубили... Принимаю спасеніе-крещеніе черезъ васъ! Изведите душу мою! Душу изведите, душу!! душу!! душу!! чорть въ душу!...

Это быль голось гибнущаго, теряющаго разсудокь.

- Слышите же... Никифоръ Иванычъ заболълъ! Поймите же, полковникъ! Фельдшеръ Коровкинъ заболълъ здъсь!.. психически! потерялъ разсудокъ!.. визжалъ надрывающійся женскій голосъ. Хоть его-то выпустите!
- Душу изведи, душу! душу! душу!... чортъ, чортъ въ душу!!..

— Два дни не ъмши... Господи... ослобо-

ните!..

— Вы умнъйшій, чудеснъйшій, Николай Васильичъ! У васъ огромное сердце... я васъ такъ

чувствую!..

- Мы всѣ чувствуемъ ваше вліяніе, полковникъ... выдѣлился надеждой бархатный баритонъ—должно быть доктора. Серьезно... заболѣлъ душевно Коровкинъ... Освободите же насъ!
- Агентъ и шпіонъ Сименсъ-Гальске! придушенно закричалъ полковникъ. Заочный судъ скоро выведетъ васъ... на чистую воду! Изъ моихъ теперь рукъ не вырвешься!... Смерть человъкоубійцамъ! смерть!
- Боже мой!... мы умремъ... Полковникъ... лучше убейте сразу... вашу Аничку... какъ я за вами ходила!... убейте сразу!...
 - Самая гнусная изъ!.. съмя поганое!!..
 - Госноди . . .

Туть я не выдержаль... Я крикнуль, забывь всякую осторожность:

— Я свъжій человъкъ, господа... и помогу пол-

ковнику!...

У меня захватило духъ: стальная рука полковника сдавило горло. Я вырвался изъ его клещей и увидълъ направленный на меня ноганъ.

— Ни съ мъста! Съ ума вы сошли?!!.. Его кровяние, бъщеные глаза снова меня сковали. Помню зеленое лицо Сашки... казначея, сидъвшаго на своемъ чемоданъ, привалившагося лысой головой къ ствикв...

— Полковникъ... я хотълъ лишь... покончить съ этой ужасной сценой . . . Довольно! — крикнуль я въ черный зрачокъ ногана, не владъя собой.

Видавшій на фронть смерть, съ ней игравшій, я оказался такимъ безсильнымъ передъ полковникомъ...

- Закройте эту дыру! крикнулъ я въ ужасъ, прямо въ зрачокъ ногана. Мнъ страшно слушать...
- Закрыть! приказалъ полковникъ. Ага... вы поняли, наконець? Да, страшно... Онъ довърчиво заглянуль мнъ въ глаза и даже

снисходительно улыбнулся.

Прохоровъ грохнулъ твориломъ и попрыгалъ, чтобы было плотнъй.

— Они хотять всты! — усмвхнулся полковникъ, показавъ зубы. — Ъстъ они все равно не могуть... они хорошо спеленуты. Имъ, давать, чистый, хлібоь!!.. А сколькихь они уже отравили! — полковникъ приблизилъ ко мнъ истерзанное ли-цо. — Одинцовъ, Гудёнко... И это ... си-стема-тически! Они вливали въ хлъбъ токи! Послъднюю доставку я приказалъ свалить въ отхожее мѣсто, а несчастные растаскали все! И воть результать: осталось всего три десятка! Остальные погибнуть!

Полковникъ провърилъ замокъ, оправилъ «щиты» и показалъ мнъ на домъ ноганомъ:

— Инструкціи получите тамъ. За нимъ!

X

Мы прошли въ домъ въ строгомъ порядкѣ, какъ арестованные: Прохоровъ впереди, за нимъ деревянный Сашка и несчастный казначей съ чемоданомъ, рядомъ со мной солдатъ, державшій винтовку «на-руку», и позади — полковникъ.

Я шелъ и настойчиво говорилъ себъ: надо! надо кончить! Я не думалъ о нъмцахъ: ихъ не было. Въ ушахъ звенъли и выли голоса преисподней. Да, надо, надо! Но какъ?! Я утратилъ способность соображать. Являлась дерзкая мысль и гасла.

Въ пріемномъ зал'в, подъ темный дубъ, съ рогами оленей и головою зубра надъ дверью, — когдато зд'всь пировали кр'впкоголовые! — за длиннымъ бълымъ столомъ сид'влъ въ кожаномъ кресл'в тощій чернявый челов'вчекъ, въ парусинномъ кител'в и погонахъ артиллериста, съ волосатымъ лицомъ, — жучокъ, — и старательно строчилъ что-то. Даже и головы не поднялъ. Передъ чугуннымъ каминомъ-исполиномъ, изображавшимъ берлогу, лежалъ грузный, раздутый водянкой рыжій солдать, въ халатъ, лежалъ на полу брюхомъ, и быстро-быстро, словно мельница въ бурю, листовалъ «Ниву» въ переплетъ, — видимо, наслаждаясь д'вломъ.

- Слъдственная комиссія... сказаль полковникь. — Какъ, капитанъ?
- Къ чорту-съ, къ чорту-съ... озабоченно бросилъ капитанъ, не поворотивъ головы и продолжая съ жаромъ писать что-то.

То были нотные знаки, параболы, формулы, нотабенэ...

- Не ловчиться, капитанъ Коринъ! не ловчиться! Извольте кончать сегодня же! Въсти изъ Пулкова!..
- Къ чорту-съ, къ чорту-съ! швырнулъ капитанъ въ работъ. Безъ логарифмовъ я не могусъ, не циркуль-съ!.. не машина-съ...
- Геніальний чудакъ... пожалъ полковникъ плечами, но работаетъ, какъ машина! Единственно, правая рука... Сюда!

И показалъ мнъ — на лъстницу.

Всюду были слѣды разгрома: обрывки и переплеты книгь, въ золотыхъ обрѣзахъ, распоротыя кресла, солдатскія кружки и манерки, солома, лоскутья, рваныя одѣяла, — и всюду плавалъ нѣжный, чудесный пухъ.

Въ верхней палатъ три огромныхъ окна были завъшены простынями, и человъкъ въ розовой рубахъ, съ волосатыми ногами гориллы, старался завъсить послъднее. Очевидно, выполнялъ приказъ о защитъ. У него не клеилось дъло: онъ впустую стучалъ нежкой отъ койки и все попадалъ по пальцамъ.

— Не такъ, дуралей, не такъ! — бъщено закричалъ полковникъ. — Не такъ, тебъ говорять, не такъ! Щелей чтобы не было! шелей!! Выше, выше, оселъ!

Несчастный быль совсѣмъ коротышка, едва доставаль ножкой до переплета рамы.

— Не такъ! — зарычалъ полковникъ.

Онъ швырнулъ въ азартъ ноганъ на койку и вспрыгнулъ на подоконникъ.

— Молотокъ, оселъ!...

Но «оселъ» быль упрямъ и золъ. Онъ не хотълъ отдать своей ножки, и на подоконникъ началась борьба. Задребезжала рама... Къ счастью, она была заперта. Солдать съ винтовкой безучастно смотрълъ на возню.

Я сейчась же схватиль ногань, вырваль у солдата винтовку и крикнуль Сашкъ:

— Бери!...

Разомъ мы схватили полковника за ноги, стапцили и навалились. Онъ ударился головой-шлемомъ. Простыней мы спутали ему ноги, связали руки ремнемъ и положили на койку. Онъ былъ безъ чувствъ. Ввалившіеся глаза были закрыты, на побълъвшихъ губахъ пузырилась пъна, тяжело хрипъло въ груди...

— Теперь бензину... — осклабясь, промолвилъ-передохнулъ Сашка. — Больше часу проканителились...

Больше часу?!.. Не знаю, я потерялъ время... Но... что же теперь?.. Я потерялъ и волю...

Я осмотр 4 лся, — тихо. И такъ, я сталъ команциромъ 2 ..

— Слушать моей команды! — крикнуль я . . . Прохорову.

Онъ вытянулся у стънки. Его губы дрожали, и сърое лицо-кулачокъ, лицо мартышки, выразило безумный ужасъ.

— Къ чорту нервы! — закричалъ я на казначен. — Дъйствовать надо, а не хныкать!

Казначей трясся на чемоданъ, закрывъ руками лицо. Во мнъ кипъло, какъ когда-то бывало *тамъ*. Я готовъ былъ его ударить.

— Что же теперь?.. — спросиль онъ меня по-

корно. — Что же надо?...

Что надо... Я не зналъ, что надо... Что, въ самомъ дълъ, надо?

Смотрълъ на меня Сашка съ винтовкой...

— Бензину надо... — опять попытался онъ.

— Иди, къ чорту! ищи ... къ чорту! ...

Во мнѣ кипѣло. Я готовъ былъ размозжить ему башку, деревяшкѣ! Онъ, въ самомъ дѣлѣ, пошелъ искать. Голоногій солдать забился подъ койку, въ уголъ.

Да... что же надо?

Я услыхаль хрипъ полковника. Онъ пришель въ себя и глядълъ мутнымъ, отыскивающимъ взглядомъ. Я наклонился...

— Вы меня слышите, полковникъ? ...

Онъ остановилъ на мнѣ пустой взглядъ, что-то во мнѣ отыскивая, что-то, какъ-будто, припоминая... Потомъ этотъ взглядъ сталъ наполняться, затеплился, загорѣлся, вспомнилъ... нашелъ свое, — и на его мертвомъ лицѣ вылился ужасъ и отвращеніе... Губы зашевелились, и я разобралъ невнятное бормотанье:

— Про . . . лятые . . .

Я смотръль на него... Насъ связывало великой болью. Эту боль носиль я въ себъ, чувствоваль въ немъ, въ этомъ скрученномъ тълъ, въ мутнъвшихъ глазахъ и тяжеломъ хрипъ. Я уже не могъ удержать эту боль въ себъ. Я ее долженъ выки-

нуть... Сь нею жить невозможно, или что-то долж но сломаться.

Я съ тоскою и жалостью смотрѣлъ на его осунувшееся лицо — лицо аскета... Безумный... Здравый... Что же значитъ это почетное слово, это гордое слово — здравый?! Сломалось что-то въ полковникъ, сошло съ накатанной подлой колеи... и бродитъ, и ищетъ новой... съ болью великой ищетъ, разрывая привычное... Я тоже хочу искать...

Но что же дълать? Да, адъютанть этоть...

Онъ все такъ же стоялъ у стънки, навытяжкъ, словно его поставили на часы. Мнъ его стало жалко. Я ласково поманилъ его и приказалъ состоять при мнъ адъютантомъ.

И онъ сталъ адъютантомъ!

— Прохоровъ, ключъ!

Онъ суетливо подалъ. Но что же дальше? Да и зачъмъ нужно — дальше? . . Да, надо итти $\tau y \mu a$. . .

XI

Казначей смотрълъ на меня свинцовыми глазами уснувшей рыбы...

— Туда, казначей!..

Мнъ пришлось взять его за плечи и встряхнуть.

— Марево... — сказалъ онъ измѣнившимся голосомъ и ... заплакалъ.

Онъ все сидълъ на своемъ чемоданъ, уставясь въ невидимую точку.

— Спасай казенные милліоны! — крикнулъ я на него и — поставилъ на колею.

Подъ его ясной лысиной мозгь быль крутой и кръпкій, безъ этихъ тонкихъ извилинъ, которыя легко рвутся. Онъ прихватилъ чемоданъ и покорно пошелъ за мною.

— Капитанъ Коринъ! — объявилъ я внизу

«жучку», — занятія отміняются!

Онъ, упорный въ своемъ, послалъ меня: къ чорту-съ, къ чорту-съ!

А теперь — Сименсъ-Гальске съ подручными! Мы сейчасъ же освободили здравыхъ, — дрожащихъ, жалкихъ... Истерично рыдали сестры:

— Христосъ Воскресе!... Бо-же, Бо-же!...

Онъ хватались за головы, смотря на разгромъ, приходили въ себя и опять закатывали истерики.

Истомленные, пошатывающиеся санитары растерянно оглядывали дворъ-лугь, не зная, за что приняться. По-бабьи причиталъ-плакалъ кръпышъ-поваръ:

— Свъта видънье, родимые мои-и... свъта

видѣнье-э . . .

Кръпче всъхъ оказался докторъ. Его тугія, тронутыя сизой щетинкой щеки, даже не потеряли румянца-глянца. Его маленькая круглая головка бойко повертывалась туда и сюда, оглядывая разгромъ, и когда оглядъла, ловко сложились губы, и онъ только свистнулъ:

— Здорово подъ-оръхъ! Воть те и наградныя...

По его лицу пробъжало тучкой и сейчасъ же сплыло. Онъ побрился — у него нашлась запасная бритва, — помылся, глотнулъ спирту, привелъ въчувство сестеръ, прикрикнулъ на санитаровъ и велълъ собирать больныхъ. Онъ былъ странно спокоенъ, — будто ничего не было.

Я сообщиль ему, что нъмцы прорвали фронть. Онъ только пожалъ плечами:

— Все возможно... Теперь все понятно: телефонъ порвали, про насъ забыли. Дъло обычное. Никто и не виновать! Этихъ было у насъ... лвъсти тридцать. Всъ, понятно, погибнутъ.

Я вспомниль тъже слова полковника... Толь-

ко тоть говориль не такъ.

— Такъ что же намъ теперь дълать, докторъ? Докторь только пожаль плечами. Сашка тоже смотрълъ спокойно: онъ все общарилъ и примирился.

- Будемъ курить, капитанъ. Утро вечера му-

дренъе.

Мы сидъли на чугунной скамьъ, подъ дубомъ. Смотръло на насъ облупившееся Распятіе. Смотръло и на разгромъ, съ нами. Воть она, жизнь, ставшая вверхъ ногами! Эти исковерканныя койки, распоротые сънники-матрасы, сорванныя съ петель двери и окна. въ солнцъ сверкающіе осколки, — все, казалось, кричало намъ:

«Бунть возставшаго человъчьяго мозга!»

И тогда мив блеснуло... Я только намекнуль доктору:

- Смотрите, они . . . смъются!

— О чемъ говорите, капитанъ... кто смъется? — не поняль докторь.

— Все это... — вещи, деревья, камни... Гля-

дите, какъ они разинули рты и пасти...

Онъ не понялъ. Онъ оглянулъ меня, какъ обычно оглядываль своихь безпокойныхь паціентовь.

— Изъ какой это оперы? — спросиль онъ. Я хлопнуль его по ляжкъ, по плотной и звонкой ляжкъ, и посмъялся:

— Какой вы еще сдобняга, докторъ!

Такъ мы сидъли на чугунной скамьъ, подъ дубомъ. Смотръло на насъ облунившееся Распятіе съ отвалившейся нижней губой изъ алебастра. Только теперь бросилось мнъ въ глаза, что Его ротъ разинутъ, погасли облупившіеся глаза, ослъпли, и Онъ страшно, нъмо кричитъ — отъ боли...

Этого я не сказалъ доктору: жалко было дълиться тайной...

Такъ мы сидъли на чугунной скамъъ, подъ дубомъ. Смъялись отъ солнца радужныя стекла, въка видавшія. Блъдныя сестры что-то налаживали, бродили. Санитары собирали осколки жизни, разыскивали больныхъ. И вдругъ, съ крыши, — робкій, просящій голось:

— Докторъ, нозвольте слѣзть...

Этотъ робкій и нѣжный голосъ ударилъ меня въ сердце. Въ душѣ я крикнулъ:

- Съ ними! хочу съ ними!!
- Слъзайте, поручикъ . . . безучастно отвътилъ докторъ. Этотъ совсъмъ тихій.

Неподалеку отъ насъ сидълъ на травъ толстякъфельдшеръ, торопливо рвалъ лопухи и разговаривалъ самъ съ собой:

- Не такъ-то просто-съ... Нътъ-съ, полковникъ Бабукинъ знаетъ... Не такъ-то-съ просто-съ...
- Нарождается новый номеръ... сказалъ про него докторъ. Такъ вотъ и очищается человъчество. Я върю въ отборъ.

Это быль ръдкостный образець здраваго человъка, съ удивительно чистыми глазами, съ румянцемъ въ-мъру, съ гребеночкой въ боковомъ кар-

машкъ. Это былъ вполнъ здравый, съ кръпкими бъдыми зубами, какъ у Сашки. Были даже и скульца, какъ у Сашки. Тотъ стоялъ у машины и закусывалъ изъ казначейской корзины. Казначей куда-то пропалъ, странно: должно быть, пряталъ казенные милліоны...

Докторъ освъдомился, какъ и что, когда и откуда прибыли, записалъ въ книжечку — на случай, узналъ про наши запасы и сказалъ удовлетворенно:

— Это теперь очень кстати. Если раньше не потревожать, закусимъ, вывѣсимъ бѣлый флагъ съ краснымъ крестомъ и скажемъ вѣжливо: «Мы сдаемся». По-ихнему будетъ: «нэмен-зи-гефанген!» Значитъ, выпали изъ войны. Финита!

Потомъ... Я плохо помню подробности. Ну, полковника развязали, вспрыснули морфію, и онъ скоро уснулъ. Его оставили тамъ, въ верхней палатъ, въ боковомъ флигелъ. Я остался съ нимъ ночевать... Много думалъ...

XII

Пала ночь. Все затихло. Что же намъ ска-

жеть утро?..

Я сидъль у окна, слушалъ голоса ночи. Она молчала. Далекія, ръдко, глухо, били орудія. Рядомъ — хрипло дышалъ полковникъ. Какіе кошмары пришли къ нему? какіе демоны крючьями рвали сердце?..

Стоитъ ли мучиться, и во имя чего, кого? Не хочу и не буду мучить себя «во имя»! Слишкомъ много знаю, видълъ и пережилъ... Хороша пар-

ковая рѣшетка... художникъ понималъ дѣло! Вонъ на дубу — Распятый, облупился, ротъ потерялъ отъ крика... Нѣть, не буду и не хочу съ ними... Правъ докторъ: очищается человѣчество, великій отборъ идеть, смѣются зѣвають камни... Это они грохають такъ мѣрно, нашупывають «мясо»... Очищается человѣчество! Меньше и меньше будуть мучить себя «во имя»... Скоро люди науки, люди трезваго смысла, давшіе міру «толуолы», откроють величайшій секреть — заряжать человѣка мозгомъ, тугимъ и крѣпкимъ! Великое торжество близко. Страшно же, чортъ возьми, гориллѣ давать хрупкую, человѣческую, душу! Тогда, наконецъ, смѣло и гордо назоветь себя человѣкъ — гориллой!..

Въ лунномъ свътъ, залившемъ дворъ и бълыя стъны, грезились мнъ волнующіяся тъни, тъни... Что за тъни? Тамъ и тамъ скользили онъ неслышно. Что за тъни?... Несчастные ли, въ которыхъ жила когда-то человъческая душа, хрупкая. слабенькая душа, смятая оболочкой звъря? Или это призраки чистыхъ людей тихаго свъта, еще не родившихся на землъ?... Не являюсь ли я счастливымъ свидътелемъ тайны тайнъ? Быть можеть, то зачинались въ ночи неясными очертаніями тъней скользящихъ прекрасные люди будущаго?...

скользящихъ прекрасные люди будущаго? .. Я слышу тонкій, трусливый вой и яростное ворчанье ... Нътъ, не грядущее обновленье это. Это они, бродящіе по ночной пустынъ. Нътъ еще на этой землъ силы такихъ зачатій ... Въ крови зачатое будетъ звъринымъ кръпко, не будетъ лопаться и дрожать, не будетъ мучить себя «во имя» ... Я слышу и храпъ, и сопъ. Это казначей спитъ

Я слышу и храпъ, и сопъ. Это казначей спитъ — не грезитъ. На его гладкой лысинъ ясно играетъ мъсяцъ. Онъ спитъ спокойно: зарылъ таки чемоданъ подъ щепой, въ сараъ.

И Сашка славно храпить, рядомъ съ полковникомъ, пожелавъ ему сновъ пріятныхъ. Сказалъ, укладываясь, въщее, свое, слово, — таки осилилъ:

— Эхъ, безъ ума не сойдешь съ ума! ...

Какъ и Сашка, полковникъ былъ теперь отъ этого застрахованъ. Онъ уже — фактъ и суть.

Я сидълъ у окна и слушалъ. Сидълъ и грезилъ... Полный мъсяцъ подымался выше, стерегъ землю. «Гуляй, тихій... гуляй, ночной!»

На заръ, только-только стало подыматься солнце, услыхаль я впросонкахъ ръзкій сигналь трубой. Я вскочиль и глянуль за занавъску. И туть, наконець, повъриль, что передо мной самая настоящая суть, какъ казначейская лысина.

Галопомъ влетълъ во дворъ кавалерійскій отрядъ, человъкъ въ двадцать, на кръпкихъ рыжихъ коняхъ, на мъдныхъ коняхъ, — въ желъзъ, сукнъ и кожъ. Впереди — мальчикъ, въ серебряной каскъ, со свъжимъ лицомъ, какъ румяное яблочко. Онъ взмахнулъ серебряной саблей къ полотницу надъ воротами и закричалъ кому-то:

— Что и кто здѣсь?! Я спрашиваю, что это?!..

И показалъ саблей къ полотнищу на воротахъ. Изъ окна флигеля открывалась поразительная картина.

Солнце играло краснымъ, раннимъ, огнемъ на серебръ и мъди, на тяжелыхъ, вамокшихъ коняхъ, на ремняхъ. на ружьяхъ, на тугихъ ляжкахъ, на

шпорахъ, на сапогахъ... На нижней плитъ крылъца стоялъ докторъ, въ накинутой шинели, съ полотенцемъ на палкъ, и говорилъ своимъ голосомъ, очень четко:

- Нәмен-зи-гефанген! Мы сдаемся, господинъ лейтенантъ! Мы подъ Краснымъ Крестомъ!
- Чор-ртъ... я спрашиваю, что здъсъ?!..— кричалъ мальчишески-звонко нѣмецъ. Что такое... лу-на?!..

Докторъ отвътилъ, отчеканивая слова:

— Здъсь, брошенный встми, домъ сумасшедшихъ... Просимъ вашей отзывчивости.

И знаете, какъ отозвались на это люди въ жельзъ, сукнъ и кожъ, на кръпкихъ рыжихъ коняхъ, на мъдныхъ коняхъ, всё круглоголовые свъжіе кръпыши въ каскахъ?

Они хохотали... хохотали, какъ сумасшедшіе... Съ ними хохоталь боръ, потерявшій тайну, хохотали тихія нѣдра, хохотали пустые сараи и разбитые чердаки. Хохотала настоящая жизнь, зычная, полная крови жизнь, не сбивающаяся на бредъ, не знающая сомнѣній. Знающая одно: я — жизнь!

И вдругь, въ этоть оглушительный грохоть глотокъ и пустоты, къ мордъ передового коня скользнула приземистая, сърая тънь... — и молніей полыснула бритвой...

Бацъ!... Вахмистръ-усачъ въ упоръ положилъ ее. Завертълось въ глазахъ... Копыта вздыбленнаго коня, сверкнувшая сабля, каски, сабли, сабли... и на росистой травъ, въ лиловомъ серебръ солнца, — сърый, вздрагивающій комокъ... Копыта, лошади на-дыбахъ, и сабли...

Туть наступаеть проваль... Я почти ничего не помню. Какь-будто, круглыя лица, въ каскахь... округленные глаза, въ огнъ... тонкіе голоса, — сестерь?.. Да благословенна будеть Рука, задвинувшая заслонку! Я ничего не помню...

Приходили ночи въ окно, съ огнемъ и громомъ. Должно быть, били орудія. Знакомое лицо... — Сашка? — являлось и уплывало... И кто-то, чужой, стоить и стоить съ обнаженной саблей... Прорываеть мои потемки огонь и трескъ, будто рушится все кругомъ, и я отчетливо вспоминаю раскатистое — ур-ра-а-а... — сыплющееся въ окно. съ воли... Оно вырываеть меня изъ тъмы. Помно бородатое казачье лицо, сладкій коньшили пута в потемки протемка описа

ячный духъ и волосатую руку, протягивающую жестянку съ мармаладомъ. Оно гладить мой лобъ, курить трубку и говорить что-то очень веселое, чего я никакъ не могу понять. Я узнаю слова, но не могу понять смысла:

- ... бросиль нашь корпусь!... артиллерія хорошо крыла... угробили!... мы ловко дыру заткнули... и крысы попали тепленькими! Веселенькая охота...
 - ...Крысы... Какія крысы?

Воть, наконецъ, и Сашка: сіяеть его лицо.

— Нъмцы, ваше высокобродіе... Наши казачки накрыли!

Я помню ласковую сестру, свътлую русую головку. Милые, родные глаза, дъвушки русской... Помню чудесно сверкающіе кристаллы въ стаканчикъ, ледяные кристаллы. Они льются въ меня, я

вытягиваюсь, тончаю... весь я — звонкая, сверкающая струна...

И опять пробъль...

Какъ-будто городъ... вечернія улицы, огни. Высокіе своды, портреты въ золотыхъ рамахъ, длиный столъ, подъ зеленымъ сукномъ. За нимъ много военныхъ, куча бумаги, ружья... Какъ-будто судъ. Да, конечно. Что это, сонъ мой длится? Опять все то же — Италія, Греція, Аргентина? Толпа казаковъ съ лихими вихрами, огневыми глазами степныхъ орловъ... Казначейская лысина! Она трется у моего локтя и бормочетъ — шепчетъ: «конецъ, капитанъ... конецъ». Итальянецъ стучить себя въ грудъ, говоритъ - говорить - говорить ... Аргентинка... Нътъ Аргентинки! Простоволосая баба кричить визгливо:

— Помилосердуйте... родненькіе мои!..

Что это, сонъ мой длится?

Усатый старикъ, въ боевыхъ орденахъ, съ черной заплаткой-повязкой, кривой и зоркій, высоко подымаеть бумагу съ печатью, пальцемъ по ней стучитъ...Я слышу звъриный вой:

— Помилуйте, родненькій мой!...

Потомъ... нътъ, не помню. Я видълъ петлю, и шелковый хвость въ клочьяхъ, и казачьи вихры лихіе, и... веселую лысину довольнаго казначея. Это я хорошо помню. Невъдомая рука открыла заслонку и показала. И опять закрыла...

Мъсяцы протекли или годы? Я часто путаю время. Я знаю, что были зимы, дожди и грозы, и — много страшнаго. Но — странная эта штука, память! Она у меня или необычайно ярка, или, мъстами, въ дырьяхъ. Я помню всъ минуты одно-

го дня, а то — проваливаются годы... Доктора увъряють, что мнъ надо серьезно полъчиться, тогда вернутся ко мнъ и провалившеся годы, что со мной бывають, такъ называемые — «люцида момента»! Полъчиться... уравнять намять? Не желаю! Довольно съ меня и — «люцида-момента»!

Вотъ и опять я тотъ же, и могу бойко разсказывать. Я все сознаю, все помню... за исключеніемъ... Но, что объ этомъ! Вст складочки и пупырья на шет Сашки, вст морщины земляка-казначея, вст слова, какія сказаль я въ жизни... за исключеніемъ! Но исхудаль я страшно, какъ видите...

Давно отшум вла война, и я въ глубокомъ тылу, такомъ глубокомъ!.. И я ничего не знаю, не вижу жизни. Не знаю, не уясню, — въ больниц вли меня держатъ или... еще гд в? Мн в совс вмъ не даютъ газетъ, а письма... мн в не даютъ и писемъ! Впрочемъ, одно им вю, — отъ казначея! Какъ попало оно ко мн в, не помню... Я напелъ его на стол в посл в ухода н вмого парня, который приноситъ мн в иногда об вдъ. Я пробовалъ съ нимъ бес в доватъ... Онъ иногда послушаетъ, ухмыльнется, и — ничего не скажетъ. Впрочемъ, недавно сказалъ, но только одно слово:

— Скоро.

Онъ напоминаеть мнъ моего Сашку: такой же скуластый, плотный...

Да, на-дняхъ... меня повели по коридорамъ, провели вверхъ и внизъ и оставили съ глазу на глазъ съ непріятнымъ человѣкомъ. На столѣ лежали два револьвера. Но разговоръ нашъ былъ до того необыкновеннымъ, безсмысленнымъ, что мнѣ

трудно разсказывать. Меня хотъли заставить вспомнить, гдъ и когда я быль за всъ эти годы! И не быль ли я на службъ у генерала Энь? Что же я могь отвътить! Я только и могь сказать, что ровно ничего не помню за эти годы. Тогда меня заставили написать все, что знаю... И воть я пишу — это. Мнъ часто мъщають господа, называющіе себя докторами. Они садятся вокругь меня и задають неожиданно самые глупые вопросы, стараются поймать на чемъ-то... Пожимають плечами, что я ничего не знаю и не помню... А вчера одинъ стукнуль кулакомъ по столу и крикнуль:

— Это все скоро кончится!

И прекрасно.

И такъ, я — въ глубокомъ тылу. Но гдъ полковникъ Бабукинъ? Странно, никто не знаетъ. Гдъ коть Сашка? И о немъ не знаютъ... Все вытряхнулось куда-то, кануло... Представленіе кончилось! Должно же коть гдъ-нибудь оставить стъдъ свой! Неужели только въ этой невърной машинкъ, въ моемъ мозгу? Для чего-то увъряютъ меня господа, которые приходятъ ко мнъ и читаютъ мои записки, — доктора они или не доктора? — что это все моя симуляція и фантазія! что если я такъ отчетливо помню даже мельчайшія происшествія нзъ того, что было, почему я такъ «глупо» настаиваю на томъ, что мнъ, будто бы, совершенно неизвъстно о «самомъ важномъ», о... Но тутъ они говорили до того странное!.. Не сонъ ли это? Ничего не могу понять...

Увъряють, что это мое притворство, моя фангазія... что я должент знать очень многое! что было на самомъ дълъ! Или они за меня боятся? хо-

гять меня успокоить? . .

Нечего за меня бояться. Я перенесъ болъзнь, и теперь, если будуть кормить получше, оправлюсь быстро и опять поведу работу въ университетъ: я же подававшій надежды физикъ, бывшій ассистенть покойнаго Лебедева!

Вотъ чудаки: фан-та-зія! Я могу показать письмо самаго правдоподобнаго человъка, моего пермяка-казначея, съ самой подлинной лысиной во весь черепъ! Впрочемъ, я самъ началъ было сомнъваться... Но вотъ, получилъ письмо. Онъ, оказывается, уже не считаетъ деньги, а . . . клеитъ пакеты и продаеть на базаръ хламъ! Воть чудакъ!.. Но и онъ не знаетъ, гдъ полковникъ Бабукинъ. Но не говорить, что никогда никакого Бабукина не было! Напротивъ, можете прочитать: «... лучше не думать обо всей этой чертовщинъ и о томъ чортъ съ тазомъ на головъ»!!!...

Сегодня я покажу имо письмо. Пусть хоть спишутся съ казначеемъ. Онъ имо скажегъ, какая это фан-та-зія!

Неужели я видълъ казначея?! Онъ самый, самый! Только страшно обрюзгь, и подъ глазами натеки висять мъшками. И лысина та же, только, пожалуй, не такъ сіяетъ...

Мы столкнулись у непріятнаго челов'вка... И, глядя въ глаза другъ другу, вспомнили про былое. Полковникъ Бабукинъ было! Это подтвердилъ казначей и для чего-то добавилъ, что и тогда

моя голова была не совсёмъ въ порядкё!

Намъ не пришлось побесёдовать: его повели налёво, меня — направо. Впрочемъ, непріятный человёкъ заявилъ, что завтра опять увидимся.

Если бы и полковникъ Бабукинъ появился! Я

быль бы счастливь. А хотелось бы встретиться,

поговорить по душамъ... Правда, въ его системъмногое хаотично и подсказано больцымъ мозгомъ, но гипотеза интересна... «Ультра - зеленыя волны» эти... Онъ неизвъстны физикъ, и это, конечно, — нонсенсъ, но... надо, серьезно надо заняться этимъ вопросомъ. Вліять на нервные центры! Въдь это — мысль! Ражуждая логически... — мы знаемъ силы, убивающія нервные центры, — силы гасящія... Почему же не быть другимъ?! силамъ, которыя заряжають души небеснымъ свътомъ! Только это можеть перевернуть «естественный» ходъ вещей. Я върю. Иначе — не стоить жить.

1919—1922 г.

чужой крови

Гвардейскій солдать Иванъ, раненый въ грудь навылеть, попаль въ плёнъ къ нёмцамъ. Случилось это въ Августовскихъ Лёсахъ, но осени. Рыжебровый, пучеглазый нёмецъ взмахнулъ прикладомъ, споткнулся и пробёжалъ мимо. а другой, добрый, присёлъ къ Ивану и далъ попить...

Дальше Иванъ не помнилъ.

Очнулся онъ къ ночи, въ большомъ сарав, на свив. Было такихъ здвсь много. Когда отдирали съ груди рубаху, отъ боли занялось сердце и провалился сарай куда-то, отплылъ. Тогда — сонъ не сонъ! — качнулся Иванъ подъ небо, на высоченномъ возу, на свив, будто на плотинъ у господскаго пруда, — изъ далекаго двтства выплыло! — и сестра Даша позвала жалостливо: Ва-ня!...

Часто потомъ вспоминался Ивану этотъ зыбучій возъ и жал'вющій Дашинъ голосъ.

Въ госпиталъ выучили Ивана клеить коробки, вязать и считать до сотни — ломать языкъ, а къ веснъ отправили съ другими по чугункъ, — «за лъса куда-то», — въ маленькій городокъ. А тамъ отдали мужику-нъмцу — въ работу.

Было это мартовскимъ утромъ.

Оборванцыхъ и угрюмыхъ плѣнныхъ построили на площадкъ, подъ голыми липами, и хромой нѣмецъ ахнулъ:

— Ахтунг!... Айн, цвай, драй... Каждому написалъ нъмецъ на груди мъломъ

нумеръ. Рослый Иванъ пришелся съ праваго фланга: написалъ ему нъмецъ — 5.

— Финф!

Пришли бритые мужики въ курткахъ, кули-мужики. въ кръпкихъ сапогахъ на гвоздяхъ-подковахъ, съ длинными киутьями. Пришли — трубками навоняли. У каждаго было по билету. Приковыляль за ними одноглазын и сталь вычитывать изъ бумажки, съ трескомъ: а мужики посасывали трубки:

...о-ос. ... агов в ... Ř —

А въ липахъ кричали грачи — смъялись.

И воть — загохали мужики, стали ходить по фронту, орать-спорить:
— Майн! Фирцен!

И только Иванъ подумалъ: «жеребья тянули», — подошель къ нему въ заячьей шапкѣ, широкій, толсторожій, будто поваръ Михайла изъ Скворцовки. Хозяиномъ оглянулъ Ивана, ткнулъ въ самую «пятерку» и крикнулъ, словно на лошадь:

— Фынф, гей!

Не понялъ Иванъ. забылъ. Тогда потянулъ ив-мецъ за воротникъ. Это понялъ Иванъ и пошелъ за нъмцемъ. Улицами пошли: нъмецъ впереди, Иванъ — въ затылокъ.

Нъмецъ шелъ вперевалку, какъ ходять тучные; Иванъ — журавлемъ, глядя въ широкій задъ и красный затылокъ въ складкахъ. Все было ему тошно въ нъмцъ: подрагивающій курдюкъ, съ пуговицамиглазами на поясницъ, суковатая палка съ гайкой, заплатка на шашкъ, вонючая сигарка. Встрътился взводъ солдатъ-столбиковъ, отбивавшихъ ногу подъ барабанъ. Иванъ вспоминтъ роту. — и засосало. Никто не приглядывался къ нему: знали, что этотъ рваный, худой, высокій и сіброглазый — русскій

плѣнный Иванъ. Такихъ много. Только одна старушка, съ травяной сумочкой и съ взнузданной собачкой на ремешкѣ, заглянула ему въ глаза и пожевала губами. Понялъ Иванъ, что жалѣетъ его старуха, и вспомнилъ мать.

На постояломъ дворѣ, у вылуженныхъ кормушекъ, стояли плетеныя двуколки, подъ черный и желтый лакъ. Было чисто, какъ на конскомъ заводѣ Прошина: ни сѣнинки. Мальчишка щеточкой подбиралъ навозъ. Стало смѣшно Ивану: постоемъ даже не пахнетъ!

Нѣмецъ отщелкнулъ цѣпь, мотнулъ Ивану — садись, и выѣхалъ на сѣро-рыжей крутой кобылѣ, въ стриженой гривкѣ. И побѣжало ровное, какъ плита, пюссе.

Всюду — поля и ноля, за проволокой обсаженныя деревцами канавки, домики подъ желъзомъ и черепицей, стеклянный блескъ нарниковъ, тягучій духъ хлъбный — парнымъ павозомъ. Будто изъ обожженной глины, тонкія церкви-кирки острили крестики въ небо. Съ шарабановъ, навстръчу, краснощекія дъвушки весело кричали нъмцу:

— Мойен! Мойен, хер Бгаун!

Хринъть имъ нъмецъ, не выпускать сигарки: — Моин-моин. . фройдайн Teres!

Тонкая, розовенькая Тереза еще издали показала Ивану смѣющіеся зубки. Въ синемъ колпачкѣшляпкѣ она была туго подтянута бѣлымъ ремешкомъ подъ груди, съ пучкомъ розовыхъ маргаритокъ у илеча.

— Эхъ, морковка!

Засмотрълся Иванъ на нее: ловкачка-шельма! И она пріостановила рыжую кобылку. — не звякаетъ ли подкова. — а сама хитро поглядывала на Ивана. Хрипнулъ ей что-то Браунъ, — такъ и засіяла веселыми зубами.

«Ишь, черти, — подумалъ Иванъ, — надо мной

см'фются».

Не зналъ Иванъ: посмъялся Браунъ, что вотъ скоро вернется съ французскаго фронта Генрихъ,

тогда здорово подкуеть Терезипу кобылу!

У рѣчки, съ мельничкой-игрушкой и чистыми голубями, нъмецъ остановилъ лошадь. Намалеванный синій заяць, съ колбаской въ зубахъ, и пънящаяся кружка показывали трактирчикъ. Немецъ крякнулъ и подмигнулъ Ивану.

— Можно! — отозвался Иванъ, — хозяинъ

и лошадь поить.

Пусто было въ трактиръ, только толстуха-хозяйка, занявшая весь прилавокъ, перекладывала

изъ одной корзины въ другую гору яицъ.

«Пиво, должно, дуть будеть... угостить», подумаль Иванъ. Но нъмецъ съълъ только кусокъ рыбы, — сазанъ не сазанъ! — и вытянулъ только одну кружку нива. Даль оть себя кусочекъ рыбы Ивану.

Хотълось Ивану пива. Былъ у него серебряный рубль, завътный. Берегь его крыко Иванъ. Жилъ у него этотъ рубль въ кисетъ, съ самаго того дня, какъ пошелъ Йванъ изъ Скворцовки. Отдала ему его

сестра Даша на проводахъ, сказала:
— У меня только рубликъ, Ваня. Возьми на счастье.

Для счастья берегь Иванъ, не сломалъ ему головы въ Варшавъ даже, гдъ гвардейцы двъ ночи крутили въ какой-то пьяной цукернъ, заливались «штаркой». Не отдалъ и кривоногому санитару-нъмцу — за спасенье: серебряный портсигаръ отдалъ, фронтовую находку. А ужъ какъ добивался нъмецъ! Торговала у него этотъ рубль сестра въ госпиталъ, — и ей не отдалъ. Подарилъ ей щепную птичку — своей работы.

— А рупь не могу: завѣтный!

Теперь до тоски захотѣлось нива. Сказалъ Иванъ:

— Мой пива желаеть... тринкен!

Отмахнулся Браунъ. Досталъ выданную калъчнымъ нъмцемъ книжку, — руски слова! — повозилъ нальцемъ и засопълъ, какъ мъхомъ:

— «Какъ... тэбья... сфат»? Ифанъ! Зо-о... я-я...

И поискалъ-почиталъ еще:

— «Руски дэниви... сшеловэк»! Зо-о-о... А? Найн?

Съ хитрецой заглянулъ въ глаза, въ унылые глаза Ивана. Не отозвался ему Иванъ. Потомъ прочиталъ еще: «рапота ната», потомъ: «пифо», «риба». Нравились ему чужія слова — смъщныя. Все повторялъ, смъялся; все показывалъ желтые бобызубы, все пропцупывалъ Иванову руку-лапу:

— Рапота... ната! Сольдат Ифанъ! Зо-о! Ра-

по-та!

Обозваль его Ивань колбасой и позвониль ноготкомь по кружкв. Нъмець отставиль кружку. Туть Ивань вынулъ рубликъ, звякнулъ имъ о кирпичный полъ, — звонъ-то какой отчетливый! — и сунулъ нъмцу:

— Гляди, шуть!

Выплыла изъ-за прилавка толстуха, переливая зобомъ, съ яйцами въ кулакахъ, посмотръла на рубликъ, повздыхала. Нъмецъ прикинулъ рубликъ, досталъ бисерный кошелекъ, кувшинчикомъ, и пока-

залъ Ивану знакомую «марку». Иванъ плонулъ на ногу нъмкъ, швырнулъ рубль въ кисеть и сказалъ

съ сердцемъ:

— Не бывать тому! Воть въ Россію по'вду, на первой нашей станціи калачей ли, саекъ ли — куплю на ц'яльный! Не желаю у васъ завязить. Нашъ рубль вс'ямъ деньгамъ голова, бол'я ничего!

Не поняди его нъмцы.

У ръчки нагнали ихъ двъ двуколки. Въ каждой сидъло по нъмцу и по солдату: везли въ работу. Крикнулъ одинъ Ивану:

— Покажуть они намъ кузькину мать. черти! Покатили. И онять, куда ни глядълъ Иванъ, видълъ: вылощено, выточено все, какъ игрушка! Да гдъ-жъ деревни? Всюду цвътная черепица, заборчики изъ бетона. — будто въ усадъбъ скворцовскаго барина, подъ Тулой. Сіяли въ садикахъ серебряные шары, на бесъдкахъ нестръли полосатыя налки — флагштоки . . .

Спросиль нѣмецъ, подрыгивая сигаркой:

- А? гут? Во-о-о! . . .
- Плевать! сердито сказаль Иванъ. У насъ чище.

Нѣмецъ, наконецъ, выплюнулъ вертѣвшійся въ губахъ съ самаго утра огрызокъ сигарки и постучалъ себя серебрянымъ перстнемъ въ любъ: отъ ума, молъ, все!

Въйхали, наконецъ, въ поселокъ, подъ воротаарку съ полосатой палкой на нихъ — для флаговъ въ праздники. Нъмецъ сказалъ:

— Грюнвальд!

Иванъ понялъ, что такъ зовется эта деревня.

— Ифан-сольдат! — будиль нъмець, лупиль дубинкой въ сарай: бум, бум! — Рапота ната! И всякій разъ Иванъ слышалъ, какъ въ съромъ

хозяйскомъ дом'в кукушка выхринывала пять разъ.

Вылъзалъ изъ каменнаго сарая, продиралъ глаза, а солнышко только-только показывалось изъ-за горки, гдъ стояла чужая, скучная игла-церковь — кирка. А за ней мельница уже вертъла ръзныя крылья. Нёмець, словно и сна ему нёть, закатавъ рукава блузы, поблескиваль розовой плешью, уминалъ въ плетенку вороха изъ-подъ соломоръзки — кормить коровъ. Третій нъмцевъ сынишка, горбатый Морицъ, какъ піявка тощій, уже садился на велосипедъ — катилъ въ городокъ Вербинъ за утренними газетами для Грюнвальда. Ну, и піявка горбатая! Кучу газетъ приволакивалъ черезъ два часа и набивалъ-таки деньгу!

— Во, безсонные черти! — ворчалъ Иванъ, пофыркивая подъ краномъ. — Воду, хорошо, догадались-провели, а то бы и за водой гоняли...

Расчесывался на солнышкъ, а старая нъмка, похожая на корчагу, уже возилась со свиньями, наводя палкой порядокъ. Покашивалась на Ивана что долго чешется!

- Сольдат-Ифан! кричала она визгливо; — Ку! ку!! во́дя! васср!
- Закукала... отзывался Иванъ. Агнблик, мать твою кочерыжка! Не подохнуть твои коровы . . .

Шесть было коровъ у нъмца: стояли больше по стойламъ.

И что за непонятная сторона! Здѣсь, будто, и солнце вставало раньше, и галки гомозились чуть свѣть. Поѣзда за поѣздами бѣжали, кричали у переѣзда: не зѣва-ай! Не какъ подъ Тулой: проѣдеть одинъ-другой, и опять тишь, хоть спать заваливайся на рельсы. И что за народь! Послѣ обѣда и то шмыжуть, какъ... шуть ихъ носить!

Молодуха-невъстка Тильда, съ розами во всю цеку, грудастая и бокастая, круглоглазая, какъ овца, лётаетъ по двору, подоткнувъ подолъ, — такъ и играютъ копыта-пятки. И съ чего у нихъ ноги какія, бревна? Давно выдоила коровъ и ужъ выпускаетъ телятъ въ загончикъ, вываливая находу ведерную грудь лупоглазому пупсику. Младная дъвка Лизхенъ, съ хвостикомъ на затылкъ, везетъ молоко въ телъжкъ — на сливню. Постарне, Катринхенъ, — уже надергала редиски и вороха салату, нащипала плетенку ранней клубники — на рынокъ, въ Вербинъ. А къ вечеру ужъ и деньги у нъмца звенятъ въ карманъ. На-родъ!

Первое время Иванъ ходилъ, какъ съ угара: сто дълъ надо было помнить. Земли у нъмца было, будто, немного, десятинъ восемь, — по ихнему моргеновъ тридцать, а наверчено... — на сотню десятинъ достанетъ. Было поле гороху, овсяное, ржаное, клеверное съ викой, ячменное; было поле кормовой свеклы, картофельное и еще какое-то... не поймешь. Картошка родилась два раза въ лъто! А свекла была такая!..

Смѣялись надъ Иваномъ: ходить, разинувъ ротъ! Хлопалъ по плечу нѣмецъ, тянулся достать, хрипѣлъ:

— Куль-тур! Посмъ́ивался Иванъ:

- Съ зари до зари шмурыжите, никакого удовольствія никому. Черти въ аду такъ маются!
 - А, думмкопф... Куль-тур! — Культур-культур! А скушно?!

Не понималь и вмець: скучно? Въ шахты бы

воть послать дурью голову... узналь бы.

Четыре телки росли у нъмки, иять лошадей своего заводу, въ хозяина, — съ рыжинкой, сърыя. Восемнадцать поросять наливались въ хлъву, у хмельника: дымилъ для нихъ и коровъ чанъ въ землъ. съ нивной бардой.

— И куда тебъ столько? — носмъивался Иванъ. — А все жадность ваша. Съ жадности и войну начали, людей неволить. Помрешь — не возьмешь! Да и людямъ неспокойно.

Серчалъ нѣмецъ, наливалъ плѣшь кровью, сипъль:

— Тебя надо кофорит: думм! Мат твоя!

И ругаться выучился нѣмецъ по Ивану, а не пронимался Иванъ. Твердилъ и твердилъ свое:

- Все равно: у богатаго спокою нъту. У насъ баринъ Скворцовъ сто домовъ имълъ по всъмъ городамъ, а пришло костью подавился!
 - Картофельный голёфа! Культур! Зо о!

Куръ за сотню было у нѣмца, гусей стадо, овецъ три десятка, да гдѣ-то, у какого-то Терезина дѣдушки, на горахъ, — съ сотню. Птицы всякой особенной — индюшекъ, цесарокъ, — не назовешь. Жили въ подвалахъ кролики, сотни три; начесывали съ нихъ нѣмцы до пуда шерсти, ѣли шибко, а не могли переъсть: плодились кролики, какъ мухи. Ходила за ними Лизхенъ, а рѣзалъ горбатый Морицъ. Сто дѣлъ было у горбатаго: нырялъ со своимъ горбомъ съ за-

ри до зари, по огороду да въ хмельникъ. А къ вечеру опять катилъ по деревнъ на велосипедъ, визжалъ:

— Нах-рих! Нах-рих!

Слышалъ его Иванъ съ поля: мчить, стало быть,

газету; по-ихнему — нахрик.

Даже у пятилътняго Людика дъло было: перышки собиралъ по двору въ мъшочекъ. Подивился Иванъ: за годъ насбиралъ мальчишка на подушку пуху!

Самъ нѣмецъ затыкалъ всѣ дырья, катался на короткихъ ногахъ съ дубинкой, свѣтилъ розовой илѣшью, давалъ наряды. Показывалъ Ивану волоса-

тый кулакъ въ веснушкахъ, трясъ у носа:

— Арбайт! Штайн-берг! Крафт! Ми всэ умни!

— По-нятно... Нъмецъ обезьяну выдумалъ. А накладуть вамъ, ужъ эте сдълай милость! Сыты будете.

— О, унзер кайзер убер аллес!

По праздникамъ уходилъ нѣмецъ въ клубъпивную. Собирались туда всѣ бауэры, тянули пиво, воняли сигарами и трубками и читали газеты. Сидя у палисадника, слышалъ Иванъ, какъ въ клубѣпивной рычали: хох! хох!! — и стучали въ полъ палками. Зналъ Иванъ, что это новую побѣду празднуютъ нѣмцы, а завтра обязательно выкинутъ флагъ у въѣзда. И закипало сердце. Думалось: «всѣхъ покорять! а надо бы сбить съ нихъ шапку!» Вглядывался вокругъ: «не собъешь, — машина!»

И машинъ было много всякихъ. Была у нѣмца «вертѣлка» для молока, соломорѣзка, косилка, — на всѣ дѣла! Глазъ кололи телѣги и плуги, крутозадыя лошади, коровы такія, что не лучше были и въскворцовской усадьбъ. Брала Ивана досада:

— Эхъ, шапку бы сбить да загрести все, для новаго хозяйства!

Думалъ — голодомъ морить будутъ. Нѣтъ, ничего кормили. Даже вечеромъ ѣли съ саломъ, а въ праздникъ крошила пѣмка соленую свинину. Ълъ Иванъ во дворѣ, — нѣмцы въ домѣ. Приносила обѣдъ топкая, золотушная Лизхепъ, говорила пискляво: «драстуй». а Иванъ отвъчалъ: «данкашен, майнэ фройлайн!» Она убъгала, прыская въ ладошку. Жалълъ ее Иванъ: похожа она была на сестру Дашу, — слабенькая такая и въ золотушкъ. Сдълалъ ей удовольствіе, щепную птичку и золоченую клътку изъ соломокъ — подъ потолокъ въшать.

Мѣсяцъ за мѣсяцъ — приглядѣлся Иванъ. приладился. Сталъ хорошо понимать по-ихнему. И говорить сталъ отчетливо. Смѣялись, а потомъ привыкли. Шутилъ надъ ними Иванъ, говорилъ нѣмкѣ:

— Воть, фрау Тильда ваша, невъстка, по-нашему будеть такъ: ка-была!

Повторяла нѣмка: ка-би-ля!

— Я вот, всѣ говорят, красивая... — говорила Ивану Тильда, поигрывая глазами. — По-вашему, какъ сказать надо?

Яро смотрѣлъ въ ея барапьи глаза голодный Иванъ, переводилъ на животъ на бедра. Говорилъ слово — самому было зазорно слушать, а круглоглазая Тильда съ гордостью повторяла. Обучилъ ее Иванъ разнымъ словамъ непристойнымъ, смѣялся — слушалъ: по-тѣха!

Справилъ себъ Иванъ кръпкіе башмаки на гвоздяхъ, куртку и синюю къпку: ходилъ херръ Браунъ въ какой-то «ферайн», самъ выбралъ. Да еще выдалъ Ивану жалованья остатокъ. Въ празд-

никъ какъ-то вырядился Иванъ въ нъмецкое платье, закурилъ сигаретку и пошелъ по деревнъ. Смотръли на него нъмки изъ садиковъ, смотръли крадучись-жадно, а часто встръчавшаяся розовенькая, тоненькая Тереза кивала ему свътловолосой головкой. Сказаль ей Ивань, молодиевато козыряя:

— Гутен таг, майнэ фройлайн!

Отвътила Тереза привътливо и оглянулась на

голубой домикъ, въ виноградъ.

Каждое воскресенье сталь прогуливаться Иванъ по Грюнвальду. — купилъ хлыстикъ для шику, хоть и серчалъ Браунъ на пустую трату, — и все поглядываль на завътный домикъ. И всякій разъ видъль въ садикъ, за вязаньемъ, пышноволосую, нарядную Терезу. Шелъ — насвистывалъ: «чубарики-чубчики вы мои!»

На недълъ забъгала Тереза къ Катринхенъ, выбирая вечеръ, когда приходили съ поля. Торчала у закромовъ, куда Иванъ сваливалъ картофель. Показываль Ивань передъ ней силу, играль мъшками, захватывая на шею по два. Кричалъ весело нъмцу:

— Нох. херр Браун! Наваливай! Афляден! Швырялъ — посвистываль. Дивился нъмець: что за охота швыряться силой! А старая нъмка поглазами всегда смѣющейся, бѣлозубой казывала Тильдъ, шепталась насчеть Ивана. Иванъ понималъ нюпотъ: говорила Тильда, что Иванъ не слабъе ен Фрица. Смъялся въ усы: не разъ видалъ, какъ ноглядываетъ на него Тильда, закусывая полныя губывишни; а разъ даже задержалась въ хлѣву, подъ вечерь, словно ждала чего-то. Не осмълъль Иванъ: ужъ очень нарядная была Тильда, — а были будни. — надъла розовую кофту съ кружевной вставкой и короткую юбку — вс в толстыя ноги видно. Часто

потомъ вспоминалъ тотъ вечеръ, полные розовые

локти и думалъ: дуракъ!

Вскор' прі халь на побывку къ жен унтеръофицерь Фриць, круглоголовый крыпышь, съ стеклянными голубыми глазами, черный съ французскаго солнца. Забъгали-зашумъли въ домъ, зажгли въ садикъ бумажные фонари. Закололи стараго индюка на радости. И запыхавшаяся, праздничная вся, Тильда, въ красной выръзной кофть, въ той же короткой юбкі, весело крикнула Ивану:

Кобель прі* каль!

Обучиль ее такъ Иванъ: мужъ — по-нашему называется!

И наказала, посмъиваясь глазами, сходить въ лавку и принести самаго крфпкаго портеру бутылку и остраго фаршированнаго перцу.

Сказаль ей Иванъ:

— Сама-то жарчей перцу! И опять подумаль: ду-ракь!

Ш

Другой годъ кончался, какъ работалъ Иванъ на намца. Въ работу втянулся, говорилъ чужой ръчью, и уже сажали его нъмцы съ собой объдать. Только всегда говорила нѣмка:

— А руки вымыль, Ивань? И смотръла Ивану въ руки.

Пълъ Иванъ нъмецкія пъсни, ловко умъль ругаться и даже заходиль въ кирку. Даже одинъ взжаль вь гороль.

Говорили про него въ Грюнвальдъ:
— Русскій Иванъ — золотой парень, парень сила. Изъ него выйдеть хорошій німецъ.

Самъ херръ Браунъ порой даже спрашиваль у него совъта. Зналъ Иванъ и печное дъло, и кирпичную кладку, а топоромъ работалъ — приходили дивиться. Сказалъ нъмецъ къ концу второго года:

— Кончится война, на родину не ъзди.

— Уъду обязательно, — сказалъ Иванъ. —

Скучаю.

Получиль какъ-то ржацыхь сухарей изъ дому. Писала ему каракулями Даша: «очинь живетца плоха, ничего нѣту, дорогой братець...» Пошумъль сухариками Иванъ, засмъялся... еще пошумълъ. Нагнулся къ сухарикамъ въ ящикъ, потянулъ духъ сухарный, — и вспомнилось ему въ сухаряхъ многое. Не скоро заспулъ въ ту ночь. А на утро гоказалъ нъмцу на ладони:

— Воть какой нашъ-то хлѣбъ, херръ Браунъ! Похрустъль нѣмецъ, пожевалъ: кисло. Сказалъ:

надо посыпать тминомъ.

— У насъ посыпають солью, — хмуро сказалъ Иванъ, — Хлъбъ-соль.

Съ недълю ходилъ Иванъ не въ себъ, думалъ: «живется плохо»... Мать увидалъ во снъ: идетъ старуха полемъ пустымъ, снъгами, — будто къ нему идетъ, его ищетъ; а онъ, Ваня, въ сугробъ голосу подать не можетъ. Проснулся: нъмецъ на работу выстукиваетъ. Ноготъ соломоръзкой сорвалъ въ этотъ день Иванъ: не ладилась работа. А послъ работы, какъ сидъли съ хозяиномъ на колодъ, у сарая, сказалъ Иванъ:

- Работаю на васъ, херръ Браунъ, а вы и безъ моей работы богаты. А у меня мать-старуха безъ меня заслабла...
- Работаешь на нашу Германію, Иванъ. Ты плънный...

— Это не по правдѣ. Это — какъ крѣпостное право было. А говорите, херръ Браунъ, что у васъ — культура! Выходить — на людяхъ ѣздите. Жалованья мнѣ, по-нашему, два цѣлковыхъ...

Сказалъ ему Браунъ, что такъ говорить не надо, а то онъ заявитъ, какъ требуется по закону, и то-

гда могутъ послать въ шахты.

— Оттуда не выходять!

— Знаїю, — сказалъ Иванъ: — это, по-вашему, — куль-тура!

Осерчалъ Браунъ, обозвалъ картофельной голо-

вой. Спросилъ:

— Въ какой газетъ читалъ такое?

— Это у меня туть написано, въ картошкъ!

Чаще стала встръчаться ему Тереза, въ укром-

ныхъ мъстахъ перекидывалась словечкомъ.

Въ хмельникъ разъ, по осени, насыпалъ ей Иванъ полный передникъ хмельныхъ бубенчиковъ, — просила на припарки для матери, фрау Виндэ. Въжливо поцъловалъ Иванъ холодные палъчики Терезы, а она дала ему изъ передника кисточку и, смъясь, сказала:

- Носите всегда съ собой. Это вамъ на счастье.
- Волосы ваши буду помнить. сказаль ей Нванъ. — Какъ хмель они золотые. Съ нихъ у меня мутится...

Стыдливо засмъялась Тереза. Спросила удивленно:

- Гдъ вы прочитали такія слова, Йоганнь? Въдь вы русскій...
 - У насъ на каждое д'ило свое слово!

Потянулся, было, къ ен хменевой головкѣ, по она убѣжала.

Сунулъ кисточку въ кисетъ съ табакомъ и ску-

рилъ — не замътилъ.

Нагналь какъ-то ее Иванъ по дорогѣ въ городъ. Выло это въ концѣ апрѣля. Синѣло небо, уже распускались полевыя маргаритки. Шумѣло въ ушахъ кровью, и жаворонки звенѣли, какъ подъ Тулой. И начинали хорошо пахнуть березы. Примѣтилъ Иванъ гнѣздышко розовыхъ маргаритокъ при дорогѣ и остановилъ сѣрую кобылу. Остановила свою пѣганку и Тереза. Йванъ сорвалъ маргаритки и молча отдалъ. Тереза кивпула ему и сказала:

— Вы для меня остановились, чтобы нарвать маргаритокъ! Нѣтъ, вы не дикій русскій Иванъ, вы совсѣмъ нашъ, Йоганнъ. Изъ васъ будеть хорошій нѣмепъ...

Сказалъ ей Иванъ, оглаживая пъгую кобылку:

— Запотъла. А это, слышь, жаворонки поютъ... И у насъ есть жаворонки . . . самое имъ теперь время!

Она подняла синіе глаза къ небу: нъть, не

видно.

— А у васъ. Йоганнъ. есть... щеглы?

— Сколько угодно. Орловскіе щеглы самые пъвкіе... — сказаль онъ, забывъ, что она не пойметь по-русски.

— Оставайтесь у насъ, Йоганнъ. Отецъ охотно

возьметь васъ для хозяйства.

— Всякій меня возьметь на работу! — сказаль Иванъ, подымая за колесо шарабанъ съ Терезой. — Не бойтесь, не упадете. А чего миъ туть дълать? Пріъду домой, жешось... обзаведусь хозяйствомъ. Теперь многому научился... Заплатилъ херръ Брауну за науку. Буду и самъ херръ Браунъ! — Какой вы... смъщной! — воскликнула Те-

 Какой вы . . . см'вшной! — воскликнула Тереза и хлопнула его по рук'в маргариткой. А развъ у насъ вамъ плохо будеть? Кончится война и вы будете свободный! Можете тогда зарабатывать чъмъ хотите! Вы сильный, вы можете много заработать!

Смъшно стало Ивану. Запълъ весело, въ пол-

ный голосъ.

йехъ, журочка-журавель. Журавушка-журавель! Нъмецъ-перецъ колбаса. Купилъ лошадь безъ хвоста!

Сказалъ ей пъсенку про пъмца, какъ задумалъ нъмецъ жениться, купилъ негъстъ корытце. Весело смъялась разрумянившаяся Тереза.

— И выходить, стало быть, дъло за корытцемъ!

- Такъ что же? У насъ есть красивыя дъвушки... хорошихъ семействъ... Только надо имъть свое хозяйство. У васъ тамъ есть капиталъ, въ Россіи?
- Я самъ капиталъ! Сказалъ вчера самъ херръ Браунъ! Энтотъ все знаеть! Тамъ у насъ за меня поймутъ и безъ капиталовъ!

— Да, конечно... — вздохнула Тереза, — но безъ денегъ жить трудно. Вы, Йоганнъ, мало знаете жизнь. У насъ знаетъ это всякій школьникъ.

Зналъ Иванъ, что нравится Терезѣ. Зналъ, что и она ему по сердцу, только строга, пе какъ Тильда, съ которой у него уже были сладкія минутки. И еще зналъ, отъ Тильды слышалъ, что Браунъ и Виндэ, отецъ Терезы, давно рѣпили, что младшій сынъ Геприхъ — теперь воюстъ во Франціи — послѣ войны жештся на Терезѣ. И сказалъ прямо:

— По душть ты мнъ... а быть тебъ за Генрихомъ, знаю ваши порядки. Она залилась кровью и опустила глаза. Подума-

— A если убьютъ . . .

Помѣшалъ имъ горбатый Морицъ: нагналъ на велосипедѣ. Тереза погнала кобылку, а Иванъ тронулъ шагомъ. И всю дорогу думалъ: какія чудныя эти нѣмки: скромпицы, а такое скажутъ!..

Но веселая, голубоглазая Тереза сильно его ма-

нила. Такой еще не было въ его деревнъ.

Нъжна ужъ очень! На барышень похожа изъ

скворцовской усадьбы.

Вечеромъ поймалъ онъ ее въ хмельникъ, за ригой. Пришла она слушать, какъ поеть-чокаеть черный дроздъ, подвъшенный Брауномъ на высокой въхъ. Иванъ поймалъ ея руку, потянулъ и сказалъ твердо:

— Воть что, слушай. На родину со мной пов-

дешь? поженимся...

И кръпко обиялъ. Дроздъ сладко свисталъ надъними. Она прильнула къ Ивану и сказала чуть слышно:

— Сегодня Генрихъ прислалъ письмо... ъдетъ

въ отпускъ...

— Стало быть, не убили?.. — началь было Ивань, жарко захватывая ея плечи, но она вырвалась и убъжала въ испутъ.

Остался стоять Иванъ въ вечеръющемъ хмельникъ, въ голомъ лъсу жердей. Стоялъ поглядывалъ на дрозда, на пробивающіяся звъзды. Стоялъ и свисталъ ему, свисталъ «чубарики». И дроздъ тоже поглядывалъ на него, и тоже свисталъ...

Когда вернулся Иванъ изъ хмельника, ръзко

крикнула ему Тильда:

— Иванъ, мъшки снять надо!

Иванъ вошель за ней въ темную уже ригу. Она вдругь кинулась на него, цъпко схватила его за плечи и затрясла въ дрожи:

— Дьяволъ проклятый! дьяволъ неблагодар-

ный! дьяволъ!! я теперь все знаю...

Иванъ захватилъ ее и сказалъ въ ухо:

— Выпьемъ-ка за здоровье твоего Фрица, можеть и убьють скоро? . .

Она рванулась отъ него, какъ шальная.

— Не смъй! тьфу! не смъй!! говорить такъ... глупо!

—А сама любишься, кошечка... — шепталь ей, кръпче захватывая ее Иванъ. — Да не... корежься... да не... вотъ вы... нъмки какія... все чтобы чисто-гладко... по вашему закону выходило... Да ты послушай... дроздъ-то какъ... заливается...

Она осталась, довольная. Ушла, заслышавь только тяжелые шаги за ригой: шель, сопя, за своимъ дроздомъ Браунъ — снять на ночь.

IV

Наступиль май — третій май н'вмедкаго пл'вна. Уже два раза прівзжаль на побывку Фриць. Два раза прівзжаль Генрихь. И всякій разъ Браунь р'взаль по поросенку. По дв'в нед'вли вли они доотвалу и много выпивали пива.

Въ этотъ май такъ случилось, что прівхали оба сына разомъ — на одну недвлю. Опять закололи поросенка и двухъ гусей, хоть и жалвла нвмка. Да важное было двло: дали Генриху новый чинъ, и Браунъ рвшилъ устроить помолвку его съ Терезой. Да и подходила, будто, къ концу война. Шли

побъдные праздники на деревнъ, и то и дъло выки-

дывали на въвздъ побъдный флагъ.

На помолвку прі хали родные: и изъ Грюпвальда, и изъ Вербина, и «изъ-за горы». Все тяжелын тъмцы и широкія нъмки, и много и кръпкихъ и тонкихъ дъвущекъ въ свътлыхъ платьяхъ, съ цвътными бархатками на шейкахъ. Генрихъ ходилъ среди нихъ въ новомъ мундирчикъ, съ новой саблей, потому что былъ теперь новый — фендрикъ. Прівхалъ на трезвонистомъ шарабанъ Терезинъ дъдушка изъ далекихъ мъсть, какъ міцо лысый, въ столътнемъ зеленомъ кафтанъ съ жестяными пуговицами въ ладонь привезъ въ подарокъ перламутровую шкатулку и бълаго кота-ангорку.

Шумно сыграли помолвку у Виндэ, наколотили для будущаго счастья гору посуды всякой. Слушаль Иванъ отъ риги, какъ звенъло «счастье». Сидълъ думалъ: «расколотить бы мнв главную посуду, том у — на счастье!» Захватило тоской. Пошелъ на погребицу, поковырялъ гвоздочкомъ замокъ нѣмецкій. вытянуль литра три темнаго пива — посвътлъло. Пошелъ черезъ улицу ко двору Терезы, постоялъ — послушалъ: все еще быютъ посуду. Пошелъ къ Браунову двору, поковырялъ гвоздочкомъ — и посвътлъло. Пошелъ опять слушать, какъ набивають Терезъ «счастья». Ходиль туда и сюда долго, пока кончили бить посуду. Уже ничего не помниль.

Съ утра стали у Брауна играть на скрипкахъ подъ сиренью — горбатый Морицъ и паренекъ изъ аптеки. Ходилъ просить разръщения Браунъ — въ отступленіе оть военнаго закона. Пришла телеграмма о новой большой поб'яд'в, — разр'яшили. Съ'вли гости ц'ялаго кабана, гусей дв'я пары

и кроликовъ два десятка. Выпили сорокъ литровъ

пива и четыре бутылки шнапса. Сытые и веселые ходили. Портреть Кайзера обвили елочкой и дубовыми вътвями, грозились перетопить всъ вражьи пароходы, захватить всю Россію, до Сибири... Скрип'влъ старый дъдушка Терезинъ:

— Хочу теплую шубу... изъ русскаго мед-

вѣля!

Объщалъ ему Генрихъ и шубу, и лисью шапку, а маленькой Терезъ — розоваго шелка изъ Ліона. Слышаль Иванъ, о чемъ говорили нъмцы, свое

и свое думаль: «эхъ, разбить бы ей главную посуду!»

Танцовали на тесной площадке садика, где зацвъли ранніе левкои. Танцовали свой «шибер». Фрицъ-кабанъ плясалъ съ пышно разодътой Тильдой — въ золотистое платье, съ розовымъ бантомъ сзади. Генрихъ-франтъ съ тихой овечкой — Терезой. Не было совсъмъ парней, пришелъ Клюпфъ, пьяный солдать, стучалъ по столу кулакомъ, грозился:

— Изъ француза красное вино пущу... изъ

англичанина портеръ черный! Бей всю Европу!

Смѣялись надъ Клюпфомъ: «да мы же, нѣмцы, самые первые въ Европъ!»

Знать ничего не хотъль пьяница Клюпфъ, оралъ:

— Германія выше всей Европы! Хох! хох!!

Острякъ былъ Клюпфъ-пьяница, шорный ма-стеръ, всъ гоготали на его ръчи, стучали налками, а Терезинъ дъдушка похлопывалъ въ сухенькія ладошки-дощечки.

Было воскресенье, вечеръ. Иванъ сидълъ во дворъ, у сарая. Слушалъ, какъ визгливо-раскатисто хохотала Тильда. Она выпила много пива и все приставала къ усачу Фрицу.

— Ты ужъ и осовълъ, мой Фрицикъ? Не пей такъ много, мой пътушокъ. Давай, станцуемъ!

Клюпфъ топтался по дерну и вылъ-хрипълъ

свою солдатскую пъсню:

Изъ быка ремней нарѣжу, Поясовъ друзьямъ намну!..

Вытолкали его изъ сада за непристойность. Видълъ Иванъ, какъ франтъ-фендрикъ нашептываетъ Терезъ, какъ краснъетъ стыдливая овечка. Вспоминалъ — посмъивался въ усы: «а если ... убъютъ? ..» Хорошо понималъ, какъ напъвалъ Генрихъ пъсенку, подавая овечкъ бълый цвътокъ левкоя:

Ахъ, любимая блондинка, Чисть и нѣженъ образъ твой. А возьмешь цвѣточекъ въ ручку, Станешь прямо ты святой!

Тяжело было Ивану съ самаго утра. Съ утра взглянула на него Тильда, будто въ первый разъ его видить, крикнула:

— Почисти саноги Фрицу!

Взялъ Иванъ сапоги изъ рукъ, поглядълъ ей въ безстыжіе глаза, сказалъ дерзко:

— За свои башмачки ты мнъ хорошо платишь, мадама... а за эт и, со шпорами, заплатишь

лучше?

Огнемъ залилась Тильда, вырвала сапоги, умчалась. Цёлый день дразнилъ его розовый бантъ Тильды и ея заливной хохотъ. Томило его, какъ вся бёленькая Тереза сидитъ неотлучно съ франтомъ, подивваеть его стишкамъ-пъснямъ. Не выходило изъголовы навязавшееся съ объда, какъ услыхалъвпервые:

"Ахъ, любимая блондинка!»

Въ этотъ веселый вечеръ дроздъ висълъ на сараъ и свисталъ особенно безнокойно-лихо. Слышалъ Иванъ въ его свистъ знакомое: «и шум», и гудэ-э...» Томила его дроздова пъсня. Слушалъ трескучіе голоса нъмцевъ... Оби-да!.. Взяли его всего, взяли его работу, а все чужой. Скотина милъй хозяину! Сегодня Браунъ опятъ пыталъ, — не останется ли и совсъмъ въ Грюнвальдъ? А на праздникъ и не пригласили, даже не угостили гусятиной и не отпустили пива! И эта корова Тильда: то каждую ночь совалась... а теперь такъ и жмется къ своему рыжему усачу и бантъ нацъпила на свое мъсто! И Тереза эта... овцой смотритъ, а своего не упуститъ. Нечего съ ними и канитель разводить. Вотъ уъдетъ этотъ — позову въ хмельникъ, разобъю посуду! Пустъ отпразднуетъ свой дъвишникъ...

И онять услыхаль Иванъ:

А возьмень цвѣточекъ въ ручку. Станешь прямо ты святой!

Сидълъ Иванъ на точильной плитъ позванивалъ въ раздумъъ завътнымъ рублемъ о камень. Прислушивался къ серебряному звону. Наводилъ этотъ тонкій звонъ на думы ему родное. Дашуркусестру припоминалъ, какъ вязала въ избъ кружева на коклюшкахъ, заработала этотъ рубликъ... матъ старуху... Другой годъ лежитъ старуха на погостъ. Прошинскихъ коней вспоминалъ заводскихъ,

жеребцовъ съ кровяными глазами... Собачонку «Лиску», вольные луга Скворцовки, росяные покосы, вешніе соловьиные раскаты... какъ ходилъ по лугамъ съ гармоньей, какъ хороводился съ дъвками въ овражкахъ...

Прислушивался Иванъ къ тонкому звону, думалъ: «можеть, и въ Расею теперь скоро». Поднялъ голову — дроздъ на него свиститъ — смотритъ.

Снялъ клътку, отворилъ дверку — лети, мать

твою такъ-то!

Высунулъ голову дроздъ, поводилъ туда-сюда желтымъ носомъ — пырхъ! Сѣлъ на сарай, завелъ все то же: «и шум», и гудэ!» Не слетълъ, опять въ клѣтку забился.

— Дурак! Выучилъ тебя нъмецъ мъсту!

Услыхаль хохоть, подумаль злобно: удивить

бы ихъ чвмъ, чертей!

Вспомнилъ — поить коровъ скоро. Придется Тильдъ снять свою красу, подоткнуть подолъ да звонить по ведрамъ.

«Взять да въ стойло за ней, да при всѣхъ и залапить... во бы штука! А то принести ее кирсеть энтотъ, крикнуть: на койкъто у меня ночью забыла! вотъ бы штука! Эхъ, подивить бы ихъ, чертей, чъмъ!»

Подняль голову на шаги: пьяница Клюпфъ приглядывается. Смотръль Клюпфъ, какъ звякалъ Иванъ рублемъ.

— Гей! — поманилъ его Клюнфъ.

— Гей! — поманилъ Иванъ.

— Покажи, пріятель! — опять поманиль Клюпфъ.

Вынулъ Иванъ кисеть, спряталъ рубликъ, «чуб-

чики» засвисталъ.

Топнуль Клюпфъ, показаль кулакъ, гакнуль:

— Ахъ ты свинья!.. русская свинья, грязная!.. Никогда Иванъ за слювомъ въ карманъ не лавилъ: нустилъ Клюпфа на всѣ лады, — натрафился за три года. Полъзъ Клюпфъ на Ивана, да подошелъ самъ Браунъ и ухватилъ Клюпфа. Шумълъ Клюпфъ, грозился брюхо вспороть Ивану.

Уговориль его Браунъ плюнуть, сказалъ:

— Хорошій Иванъ работникъ, совс'вмъ и не похожь на дураковъ и л'внтяевъ русскихъ!

Задъло Ивана за живое. Всталъ во весь ростъ

гвардейскій, какъ на смотру, крикнулъ:

— Врешь, херъ Браунъ! Какъ былъ русскій, такъ и остался русскій, а не кабанъ, не нъмецъ! На чужомъ горбу не вытыжаю! Не грошовникъ!

Туть всв загалдели и застучали палками, кто

во что. Унялъ Браунъ компанію, сказалъ мирно:

- Не надо переходить мъру. Будемъ, друзья мои, праздникъ праздновать. Выпили мы всъ немножко.
- Всѣ, да не на всѣ! крикнулъ Иванъ. На всѣ-то еще, время придеть, пить будешь!

По-своему крикнулъ — не поняли его нъмцы.

— Уложу его на лопатки!

Знали всѣ быка-Клюнфа: всѣхъ укладывалъ на лопатки. Закричали нѣмцы:

— Зо! Зо-о!! Выходи, русскій Иванъ... онъ

тебя въ двъ минуты положить на лопатки!

Стало всъмъ опять весело, закричали Клюпфу:

xox - xox!

Увидалъ Иванъ, что смъется Тильда, сверкають у нее жадные зубки-кусачки: увидалъ и Терезуовечку: выглядываеть изъ-за спины жениха, пытаеть стеклянными глазами. Хлынуло въ него ражемъ.

— Эхъ, ужъ и покажу вамъ кузькину мать! Ставься!!

Выбрали судей для порядка. Сѣли на колоду. Ударилъ Терезинъ дѣдушка въ ладошки, понюхалъ

табаку, — начинай!

Клюпфъ быль пониже Ивана, но шире въ плечахъ, грузнъй. Прихватилъ Ивана подъ поясницу. сталъ подъ себя давитъ. Давилъ-давилъ, — лопнули штаны, насмъщили. Вытянулся Иванъ, навалился захватилъ бычью шею, — нътъ, не сдюжишь. Прошелъ срокъ, ударилъ въ ладошки Терезинъ дъдушка:

Довольно. Пива Клюпфъ много выпилъ!
 Выпустилъ Иванъ Клюпфа — синъй синъки.

Плюнулъ въ сухой кулакъ:

— На кулаки ставься! Эхъ! удивлю чертей!! Не дали судьи, закричали: съ пьянымъ не трудно сладить!

Тогда Фрицъ крикнулъ:

— Давай на мѣшкахъ пробовать, кто сильнѣй! Лежало на дворѣ пять мѣшковъ съ парниковой землей, большихъ, тяжелыхъ. Взвалилъ себѣ Фрицъ мѣшокъ, велѣлъ Ивану наложить другой сверху. Наложилъ Иванъ. Прошелъ Фрицъ по всему двору — не погнулся. Велѣлъ третій накладывать. Прошелъ — чуть погнулся. Скинулъ мѣшки, велѣлъ Ивану носить.

Три мъшка навалилъ Иванъ, прошелъ по всему двору соколомъ, «чубарики» высвистывалъ. Ни-

чуть не погнулся, крикнулъ:

— Наваливай!

Тяжелые были м'ышки, пятипудовые. Прошель Иванъ по всему двору — не поричлся. Чуть поплясаль даже:

Йеххъ, ж-журочка-журавель... Журавушка-дъ-журавель!..

Хохнули нъмцы, палками застучали.

— Эхъ, побилъ Фрица!— Нътъ. Фрицъ можетъ!

Навалили Фрицу четыре мѣшка. Прошелъ, бурый. Фрицъ, выпучивъ глаза, закачался, скинулъ. Крикнулъ лихо Иванъ:

— Эхъ, удивлю чертей! Наваливай весь пя-

токъ, нѣмцы!

Стали нъмцы кричать:

— Довольно! Сорвешь спину, Иванъ! Видимъ, — не слабъй Фрица!

— Наваливай! Нох афладен!!

Стали наваливать на Ивана... Гора-горой. Не видать его стало подъ мънками. Навалили. Выправился Иванъ ногами, переступилъ шага два, нашелся — пошелъ ходко. Поднялись нъмцы съ колоды, съ давки, вытянули шеи — головы, ждутъ — качнется. Натужился Иванъ во всъ жилы, сталъ какъ клюква. Прошелъ мимо Брауна — усмъхнулся:

— Садись, хозяинъ!

Прошелъ мимо Фрица, бурый:

— Сажай и свою и мою кобылу!

Ступилъ мимо Тильды, глянулъ въ жадные ея зубы, — хрипнулъ:

— Стан . . . цуемъ . . . што ли . . .

Призналъ мутившимися глазами Терезу, — цѣлуеть ее Генрихъ въ розовое ушко, въ хмелевую головку. — закачался: гакнуло у него въ груди каленое желѣзо.

И воть, когда хлынуло въ него темной волной, и заколыхалась подъ нимъ земля, — услыхалъ Иванъ, зоветъ, будто, его чей-то родимый голосъ: Ваня!

V

Очнулся Иванъ на землѣ. Уже темнѣло небо. Ненѣли звѣзды. Лежали мѣшки у глазъ. Толпилисьгудѣли нѣмцы. Кричаль Браунъ:

— Глупая игра! Можно потерять человъка!

Фрицъ смъялся:

— Что, Иванъ! Земля всъхъ накроетъ! Вставай,

выпьемъ.

— Вставай, Ифанъ! Вставай, русскій медвѣдь! — оралъ Клюпфъ. — Ты силнѣй всѣхъ, кабанъ! Хох! Выпьемъ, мой другъ, брудершафтъ! Хох!

Не могь подняться Иванъ. Подняли его нъмцы, усадили на колоду. Принесла ему стаканъ молока

Тильда.

— Выпей, Йоганн, молока...

И вдругъ — хлестнуло изъ Ивана кровью, кривой струей брызнуло въ молоко и на бълую руку Тильды. Взвизгнули дъвушки, и Тильда отдернула руку съ розовымъ молокомъ въ стаканъ, поблъднъла.

Взяль у ней Фрицъ стаканъ, усмъхнулся:

— Что... чужой еще крови не видала... Поди, вымой...

— Тильда, Тильда! — звала старая нъмка. —

Время доить, Тильда!

Кукушка прокуковала — 8. Пошла Тильда перемънить платье. Нъмцы ушли допивать пиво. а Фрицъ повелъ Ивана въ сарай, на койку.

— Не знаешь ты мъры, Иванъ, — воть и потерялъ силу. Все это твоя глупость. Надо и шутить

разумно.

Едва выговорилъ Иванъ:

— Пле... вать.

Ночью опять шла кровь — залила всю рубаху. Томила жажда. Не было подлѣ Ивана человѣка. Иванъ слабо вбиралъ губами горячій воздухъ, колыхался на высокихъ, подъ небо, возахъ сѣна и слышалъ жалѣющій его родимый голосъ...

Свътать стало. Прокуковала пять разъ кукуш-

ка, — и пришелъ — застучалъ Браунъ:

— Какъ, Ифанъ? Можешь окапывать кар-

тофель?..

Неподвижно лежаль Иванъ — платъ бѣлый. Какая ужъ тутъ картошка! Постоялъ-постоялъ Браунъ...

— Ифанъ! Ты бы выпилъ немного пива... и по-

кушалъ свинины?..

Не отомкнулъ глазъ Иванъ. Выговорилъ чуть слышно:

— Сыть... бу... дя.

Не понялъ Браунъ. Стоялъ-топтался, совътовалъ растереть грудь и спину оподельдокомъ или муравьинымъ спиртомъ: върное, старинное средство. Самъ онъ всегда растираетъ грудь муравьинымъ спиртомъ.

— На родину... Расію желаю... везите...

чую...

Не понялъ Браунъ: бредилъ Иванъ на чужомъ

языкъ — на своемъ, медвъжьемъ.

Пришелъ Фрицъ, поглядъль на восковое лицо Ивана: — «готовъ», подумалъ. Сказалъ, что надо

везти въ больницу.

Воли искалъ Иванъ, искалъ губами. Невнятное говорилъ себъ, нъмцамъ, темнотъ сарая. Хваталъ воздухъ губами: бредилъ на невъдомомъ языкъ, — на своемъ, медвъжъемъ...

Повезъ его въ больницу самъ Браунъ.

Когда подсаживали въ плетушку, Тильда привстала на колоду, чтобы лучше видъть. Встрътился съ ней Иванъ глазами. Усмъхнулся слабо: видишь, какой теперь, не то что... Оглянуль дворъ нъмца, кръпкую, дикаго камня, стройку, тёлокъ, которыхъ выгоняла въ загончикъ Лизхенъ; поглядълъ на расшитыя занавъски въ окнахъ, на красныя сережки фуксій, на зеленыя, густыя гряды огорода, къ саду. Эхъ, перетащить бы въ Скворцовку!

Сторбился и привалился къ нвицу.

Когда провзжали мимо голубого домика Виндэ, Иванъ поглядвлъ на садикъ, но не было тамъ праздничной Терезы.

Прощай. Прощай, синеглазая, ласковая, не наша. Вспомниль, какъ сказаль вчера пьяный Клюпфъ: «ты сильнъй всъхъ, Иванъ!» Накатило досадой. и сказаль нъмцу Иванъ:

— Все умъю... Все бы ваше хозяйство спра-

вилъ... плевать.

Покачалъ Браунъ головой, отвътилъ черезъ сигарку:

— Нъть. Не справить тебъ, Ифанъ. Ты... ты

картофельный голёва, Ифанъ.

Сказаль, какъ говорилъ часто. И добавилъ:

— Не картофельный голёва такъ не кончаеть. Думм!

Плевать... — сплюнулъ Иванъ кровью. —

Отдамъ тебъ рубль завътный ...

Не отвътилъ Браунъ. Нашарилъ Иванъ кисетъ, вынулъ завътный рубликъ, погладилъ на ладони...

— На, нъмецъ... Поминай Ивана.

Посмотрълъ Браунъ въ лицо Ивану, взялъ рубдикъ изъ холодныхъ пальцевъ, досталъ кошелекъ бисерный, кувшинчикомъ... Да не далъ ему Иванъ: вытянулъ рубль изъ пальцевъ.

Пущай гуляеть!

И, собравъ послъднія силы, пустиль его на реб-

ро въ небо, какъ, бывало, запускалъ лещедкой.

Прудомъ Грюнвальдскимъ, плотиной какъ разъ ъхали опи, — прудъ на версты. Далеко блеснула серебряная капля. И канула.

— Пущай... гуляеть! — болью усмъхнулся

Иванъ, кривя зубы.

Строго оглянулъ его Браунъ и засопълъ сигаркой.

VI

За ужиномъ сказалъ Браунъ:

- Мы потеряли добраго Ивана. Докторъ сказаль, будто лопнуло у него въ груди, гдъ пробила пуля. Ты, Фриць, его разсердилъ. А онъ глупый и не знаетъ мъры. А былъ золотой работникъ. Надо просить опять. Говорятъ, новую партію прислали русскихъ Ивановъ на работы. Не надо было его задорить!
- Онъ хотълъ передъ дъвушками похвастать силой, сказала Тильда. Такой бабникъ! Теперь я могу сказать: очень онъ таскался за мной, бъдняга.
 - Что такое? строго закричалъ Фрицъ.
- Вздумалъ еще! За кого жъ ты меня считаещь?! — крикнула возмущенно Тильда.
 - Ладно. Налей мив пива.

Тильда налила ему и себъ, протяжно заглянула въ глаза и чокнулась — не отняла кружки. Любов-

но глядѣла на нихъ старая нѣмка. Кукушка прокуковала — 10.

— У него уже помутилось... — показалъ на голову Браунъ. — Онъ зашвырнулъ въ прудъ свой серебряный рубль, двъ марки!

Въ этотъ часъ, въ чистой палатъ грюнвальд-

скаго медицинскаго нункта, умеръ Иванъ.

Дежурный докторъ отмътилъ въ своемъ журналъ:

«Русскій пл'єнный, Иванъ Грачовь, 26 л'єть, № — 24727, умеръ въ 10 ч. 16 с. мая отъ кровоизліянія въ легкія (легочный ударъ). Заявлена причина: поднятіе чрезм'єрной тяжести на споръ, въ игр'є (до 30 рус. пд.). Причина, способствовавшая: боевое раненіе въ грудь (сквозное). Прекрасно выраженный экземпляръ славянскаго типа. Всестороннее изм'єреніе сд'єлано (стр. 169). Сообщить г. профессору Клейденъ (Берлинъ)».

Записавъ показаніе фельдшерицы, докторъ приказалъ перенести трупъ въ прозекторскую — для

вскрытія.

1918-1923 r.

СОДЕРЖАНІЕ

Неупиваемая	ga m	8	•	٠	٠	•	•	,		,	5
Это было				,		,			,		89
Чужой крови		,				,					185

Центральн. собственные оклады: преемники фирмы ,,НАША Р'ВЧЬ' РRAHA II., Јеčná. 32. Почт. чек. счет 205.307. Телефон 9416.

"PОДИНА", BERLIN-Charlotten burg, Kantstrasse 24.

издательство ПЛАМЯ

Под общим руководств. проф. Е. А. Ляцкаго.

Отдѣлевія: ПРАГА: «Русская набушка»; УЖГОРОД: «Наша Рѣчь» М У К А Ч Е В О: «Родная Ребуль»

ПРЯШЕВ: «Наша Рѣчь» ВРНО: «Наша Рѣчь» (Барыч и Новотный) ВАРШАВА: Г. С. Суляма Склад для СЕРБІЙ: кн. маг. М. И. Стефанович н К°, Бѣлград, 36, ул. Поенкареова.

В чисть прочих изданій поступили в продажу:

БАЛЬМОНТ, К.

гдъ мой дом?

(Старая ореогр.) Очерки (проза) 1920—1923 гг. Стр. 184. IIРАГА 1924. Цена 12 кр. чеш.

Из содержанія: Бълый сон. — Факел в ночи. — О Достоевском. — Малое приношеніе. — Страница воспоминаній. — Огненные лепестки. — К молодым поэтам. — Попь Моран. — Гдв мой дом?

И в отвывов печати: Эта, дойствительно, пламенная книга— нетолько необычайно интереска, уелекательна и волнующа, она имьет и помитическое эначение. Поэты, как дъти, иногда говорят ту правду, которую не рышаются выговорить «больше». Инига написана «в благородной формъ маленьких поэм в прозъ»; иныя из них — классически прекрасны...

(Воля Россіи).

дюгамель, ж.

ЦИВИЛИЗАЦІЯ И ДР. РАЗСКАЗЫ.

Авторизов. перевод є французек. М. Л. Спонима. (Новая ореогр.)Стр. 129. ПРАГА 1924. Цёна 9.50 кр. чеіп. Книга Дюгамеля удостоена Гонкуровской преміи. Выдержала во Франціи 150 изданій.

Из отзывов печати: Из произведений новьйшей литературы, так скупо теперь переводимых на русскій язык, книжка Дюгамеля, пожалуй, наиболье заслуживает вниманія. Самый перевод превосходен.

(Boar Pocciu).

ФОРСЛУНЛ, КАРЛ-ЭРИК

ЗУНЗУНГ И ЗИНГИЛЛА.

Разсказы из жизни животных, птиц и насъкомых.

Авториз. перевод со шведскаго А. Бълобородовой.

(Старая ореогр.) Стр. 114. ПРАГА 1924. Цена 12 кр. чеш.

Содержаніе: Зунзунг и Зингилла. — Суд. — Охотники. — Старая Щука из Залива Камышей. — Состязаніе.

И з отзывов шведской прессы: Писатель Форслунд — в настоящее время единственный в Европъ писатель, который отдает все свое вніманіе изученю міра животных и настькомых. Елестящій литературный талант и наблюдательность художника сообщают его вроманам из міра животных необыкновенную занимательность и прелесть. Его изложение дъзлает эти романы одинаково интересными как для вгрослаго, так и для дтей.

ЧАПЕК КАРЕЛ

R. U. R.

(ROSSUMS UNIVERSAL ROBOT'S)

Драма в трех действіях с прологом.

Перевод с чешскаго Іосифа Калдиникова со вступительной статьей Ф. Кубки.

(Новая оре.) Стр. XIV+219. ПРАГА 1924. Цізна 20 кр. чеш.

Из предисповія: ...Творчество Карела Чапека, по новижнь художсственной обработки и по оригинальности тем, представляет собою одно из самых своеобразных явленій новпойшей чешской литературы. Драма R. U. R. пользуется большим устьхом не только в Чехіи, но и на міровой сцень, став объектом самых разнообразных сурюденій, и представляет для русскаго читателя большой интерес.

НИЛЕРЛЕ ЛЮБОР, проф.

БЫТ И КУЛЬТУРА ДРЕВНИХ СЛАВЯН.

(Старая оре.) Стр. 279 + библіогр. указатель (6 стр.), ПРАГА 1924. Ц'ана 45 кр. чеш.

Авторизованное изданіе с введеніем и дополненіями автора и предисловієм академика Н. П. Кондакова. Приготовил к печати С. Н. Кондаков. С портретом автора и рисунками в текстъ.